Максим Прикота



Он толкается.
Приедешь
сегодня?

Развод. Невеста по договору

остьмая годовщина нашего брака

18+

Максим Прикота

Развод. Невеста по договору

«Автор»
2026

Прикота М.

Развод. Невеста по договору / М. Прикота — «Автор», 2026

«Он толкается. Приедешь сегодня?» — это сообщение высветилось на телефоне моего мужа в нашу восьмую годовщину. С фотографией УЗИ. Восемь лет я была «женой Воронцова»: бросила профессию, вела его дом и слушала, что я «пустая». Теперь у него будет наследник от молоденькой пиарщицы, а у меня — один чемодан, ящик стамесок и брачный договор, по которому мне не принадлежит ничего. Работу мне даёт только его главный враг. Марк Елагин — бывший пожарный, хмурый хозяин загородных отелей, отец девятилетней Сони. Ему нужно спасти старую усадьбу на Волге, которую мой муж хочет снести. И доказать суду, что у его дочери есть семья, — иначе бывшая жена её заберёт. Он предлагает договор: помолвка на четыре месяца. Публично — пара. Наедине — работодатель и реставратор. Пункт первый: не влюбляться. Я подписала. Я ведь уже знаю, чем кончается любовь. Я ошибалась.

© Прикота М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Он толкается 7
Часть первая. Пепел 10
Глава 1. Восемь лет 10
Глава 2. Брачный договор 15
Глава 3. Чужая жена 20
Глава 4. Марк. Чужая жена 25
Глава 5. Под дождём 30
Глава 6. Городец 35
Глава 7. Флигель 40
Глава 8. Марк. Иск 45
Глава 9. Тайник 50
Глава 10. Предложение 55
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Максим Прикота
Развод. Невеста по договору

Развод. Невеста по договору
Любовный роман

Максим Прикота
2026

Оглавление
Пролог. Он толкается
Часть первая. Пепел
Глава 1. Восемь лет
Глава 2. Брачный договор
Глава 3. Чужая жена
Глава 4. Марк. Чужая жена
Глава 5. Под дождём
Глава 6. Городец
Глава 7. Флигель
Глава 8. Марк. Иск
Глава 9. Тайник
Глава 10. Предложение
Часть вторая. Договор
Глава 11. Пункт первый
Глава 12. Марк. Танец
Глава 13. Первый лёд
Глава 14. Новодел
Глава 15. Марк. Психолог
Глава 16. Пустая
Глава 17. Новый год
Глава 18. Марк. Мужской разговор
Глава 19. Баня
Глава 20. Метель
Часть третья. Трещины
Глава 21. Марк. Утро
Глава 22. Тайные ночи
Глава 23. Суд
Глава 24. Марк. Цена
Глава 25. Архив
Глава 26. Роды
Глава 27. Марк. Союз
Глава 28. Мама
Глава 29. Сентябрь
Глава 30. Чемодан
Часть четвёртая. Пожар
Глава 31. Марк. Пустой флигель
Глава 32. Первый слой

Глава 33. Флешка
Глава 34. Свидетель
Глава 35. Марк. Заново
Глава 36. Комиссия
Глава 37. Огонь
Глава 38. Марк. В огонь
Глава 39. Прости
Глава 40. Последнее письмо
Эпилог. Марк. Кашино

Пролог. Он толкается

Столик у окна в «Волге-Волге» я заказала ещё в августе. Олег любил этот ресторан за вид, я — за паркет. Паркет там настоящий, дубовый, ёлочкой, и у колонны кто-то из прежних хозяев неудачно заменил три плашки на бук. Восемь лет подряд я садилась так, чтобы видеть эти три плашки. Они были единственным в зале, что честно выглядело тем, чем было: заплаткой.

За окном лежала Волга, тёмная, октябрьская, с огнями Бора на том берегу. Фонари Верхневолжской набережной отражались в воде длинными дрожащими столбами, как свечи в старом зеркале. Одиннадцатое октября две тысячи двадцать пятого. Восемь лет назад в этот день я стояла в белом платье и думала, что так счастливы бывают только в рекламе ипотеки.

Олег опаздывал на сорок минут.

Официант Артём — за восемь лет запоминаешь имена всех официантов, которые видели, как ты ждёшь, — подходил уже третий раз, с тем сочувствием на лице, с каким врачи говорят «будем наблюдать».

— Может, пока аперитив?

— Может, пока воду, — сказала я. — Без газа. Мне сегодня и так хватит пузырей.

Он не понял, но улыбнулся. Хороший мальчик.

Я разглядывала свои руки. Маникюр нюдовый, «благородный». Олег не любил яркий. Олег не любил, когда у меня под ногтями была олифа. Чистые, гладкие, совершенно бесполезные руки — как мебель из каталога: ни одной царапины, ни одной истории. Только шрам на левой ладони, старый, белый, поперёк линии жизни. Его маникюр не брал.

Олег вошёл в восемь сорок, большой, гладкий, в тёмно-синем костюме, с телефоном у уха. Он умел входить так, что весь зал на секунду поворачивался к нему, как подсолнухи. Лицо с билборда — буквально: его улыбка висела над развязкой у Канавинского моста, над подписью «Волжская Ривьера. Жизнь, которую вы заслужили».

— Пробки, Аль. На мосту авария.

Мост был зелёным. Я сорок минут смотрела «Яндекс» — от скуки, от тревоги, от привычки знать, где он. Но сказала:

— Ничего. Я любовалась видом.

Он достал из кармана коробочку. Красную, с золотой каймой. Я узнала её раньше, чем он открыл.

Браслет Cartier. Love. Жёлтое золото, маленькая отвёртка в комплекте. Точно такой же он подарил мне год назад. Точно такой же лежал сейчас в шкатулке в нашей спальне. Тогда он сказал: «Чтобы ты знала, что я тебя закрутил навсегда». И засмеялся.

— Нравится? — Он уже смотрел в меню. — Возьми утку. Тут утка нормальная.

Я посмотрела на браслет. На него. На три буковые плашки.

— Очень, — сказала я. — Ты меня знаешь как никто.

Он не услышал. Это было его главное умение — не слышать то, что не помещалось в его план вечера.

В девять ноль пять позвонила Тамара Ильинична. По видео, разумеется: свекровь считала, что разговор, где не видно лица, — это разговор с прислугой. На экране: прямая спина, жемчуг, белая блузка, книжный шкаф за плечом — шкаф, у которого я сама три года назад перебрала петли. Она думала, что починил «мастер от Олега».

— Дети мои, — сказала она голосом, которым тридцать лет объявляла годовые контрольные. — Восемь лет. Это уже фундамент. Алина, ты похудела? Это хорошо. — Пауза, взгляд на меня, как на некачественный ремонт. — Что пожелать. Здоровья. И может быть, к девятой годовщине вы меня порадуете. Я ведь не молодею.

Олег рассмеялся и поднял бокал:

— Мам, ну всё. Работаем.

Я тоже подняла бокал и улыбнулась в камеру. Восемь лет я улыбалась после этой фразы, и лицо уже делало это само, без меня, как хорошо смазанная петля. «Работаем». Как будто я цех, у которого сорван план.

Свекровь отключилась. Телефон у Олега снова завибрировал.

— Шубин, по тендеру. Я на две минуты.

Он ушёл на веранду, на ходу переключаясь на второй, деловой голос. А на столе остался другой телефон. Тот, что всегда жил во внутреннем кармане и назывался «рабочим для стройки». Видимо, выскользнул вместе с коробочкой.

Олег никогда ничего не забывал. Он помнил номер моего паспорта и сколько стоила моя куртка в девятнадцатом году. За один вечер он забыл, что уже дарил мне браслет, и забыл телефон. Я подумала: наверное, устал.

Телефон лежал экраном вверх, между солонкой и вазочкой с одной хризантемой. И загорелся.

Я не хотела смотреть. Восемь лет я была очень хорошей женой: не проверяла карманы, не читала переписку. Я считала, что доверие — как олифа: либо пропитала дерево целиком, либо не берись. Но с трещиной на старой балке так всегда: можешь не искать, свет ляжет на неё сам.

«Ковальчук PR».

«Он толкается. Приедешь сегодня?»

Следом — фотография. Серо-чёрный веер, зернистый, как старый дагерротип. Я видела такие у подруг, у половины знакомых, которые рассылали их в общий чат с подписью «Наш фасолик». Я каждый раз ставила сердечко. И каждый раз потом шла в ванную и включала воду.

Внизу снимка, печатными буквами: «20 нед.».

Я посчитала машинально, как возраст дерева по кольцам. Май. В мае Олег трижды летал в Сочи «на форум». В мае он подарил мне сертификат в спа и сказал, что мне надо «отдохнуть от себя».

Экран погас.

Я взяла свой бокал. Рука не дрожала — я специально посмотрела. Руки у Лебедевых, говорила мама, «под рубанок», и никакой Cartier этого не отменит.

Я поставила бокал обратно. Ровно на влажный кружок на скатерти. Точно в контур. Как ставят на место отколотый кусок резьбы.

— Всё в порядке? — Артём возник рядом, будто почувствовал.

Я подняла на него глаза и улыбнулась. Кажется, впервые за вечер по-настоящему.

— Артём, у вас ещё есть тот десерт? С грушей и карамелью?

— «Тарт татен», конечно.

— И кофе с кардамоном, если сварите.

Телефон я не тронула. Пусть лежит, где лежит. Олег вернётся, сунет его в карман и не подумает, что я могла что-то увидеть. За восемь лет он ни разу не подумал, что я вообще смотрю.

Он вернулся через шесть минут, убрал телефон, не глядя. Посмотрел на тарт передо мной.

— Ты же не ешь сладкое.

— Сегодня ем. Праздник же.

— Ну смотри. Потом сама будешь ныть.

Груша была горячая, карамель хрустела. Кардамона в кофе положили щедро, как варила мама, — три коробочки, раздавленные ножом. Олег говорил, что от кардамона пахнет «как в восточной лавке». Восемь лет я пила кофе без него.

Олег рассказывал про тендер, про какого-то «отельера-пожарника», который лезет к его участку под Кашино и которого надо «поставить на место». Я кивала. Я слышала каждое слово

и не понимала ни одного, как будто он говорил через стену из толстых брёвен. В голове был только один звук. Тихий мягкий толчок изнутри, которого я никогда не чувствовала.

Он толкается.

— Слушай, мне ещё в офис. Документы по Ривьере. Тебя водитель довезёт.

— Конечно. Документы — это важно.

Он поцеловал воздух у моего виска. Пахнул Terre d'Hermès и чужим вечером. Подсолнухи в зале повернулись ему вслед.

Обычно на этом месте я вставала, недоев: Олег ждал у машины, или надо было отпустить домработницу, или могла перезвонить свекровь. Восемь лет я вставала из-за стола раньше, чем доедала. Восемь лет жила на полшага впереди своей жизни — там, где кому-то что-то от меня было нужно.

А теперь — никуда.

Я собрала ложкой карамель с края тарелки. Допила кофе. Посмотрела на три буковые плашки у колонны: чужой материал в чужом узоре, тридцать лет делает вид, что он дуб. Хорошо делает. Почти никто не замечает.

Почти.

Браслет я сначала оставила на столе. Потом вернулась и забрала: золото есть золото, а на счету у меня, как выяснится через несколько дней, будет двадцать три тысячи четыреста рублей.

Но это потом.

А в тот вечер я впервые за восемь лет доела десерт до конца. Мне больше некуда было торопиться.

Часть первая. Пепел

Глава 1. Восемь лет

Пентхаус на Верхневолжской был спроектирован так, чтобы в нём никогда не наступала темнота. Панорамные окна, подсветка по периметру потолка, ночник в виде луны, который Олег купил в Милане, и Волга внизу, которая сама светилась от фонарей. Восемь лет я засыпала в этом свете, как рыбка в аквариуме, и только в ту ночь поняла, зачем аквариуму подсветка.

Чтобы снаружи было лучше видно.

Водитель Паша довёз меня до подъезда в половине одиннадцатого. Я поднялась на лифте, разулась, поставила красную коробочку с браслетом на комод в прихожей — рядом с прошлогодней, которую сама же туда переложила утром, чтобы протереть пыль. Две одинаковые коробочки стояли рядом, как близнецы в роддоме.

Потом я сняла платье, повесила его на плечики, сняла макияж, надела пижаму и легла. Не плакала. Лежала на спине и смотрела в потолок, где по периметру тянулась светодиодная лента цвета «тёплый белый».

Олег пришёл в два сорок семь. Я знала точное время, потому что часы на его стороне кровати светились зелёными цифрами, а я смотрела на них последние четыре часа, как на кардиомонитор.

Он разделся в темноте, стараясь не шуметь. Лёг. Пах душем — не нашим гелем, другим, сладким, с ванилью — и под душем чем-то ещё, тёплым, домашним, чужим. Так пахнут не духи. Так пахнет чужая квартира.

— Спишь? — прошептал он.

Я не ответила. Дышала ровно, как учили на йоге, на которую он меня записал «для нервов».

Он повернулся на бок и через три минуты захрапел. Спокойно, глубоко, как спит человек с чистой совестью и хорошим ипотечным портфелем.

А я лежала и вспоминала.

* * *

Мастерская «Старый город» на Ильинке занимала полуподвал купеческого дома, и пахло там так, что я до сих пор иногда просыпаюсь от этого запаха во сне: олифа, костный клей, сосновая стружка, шеллак, разведённый в спирте, и кофе, который Лев Аркадьевич варил в турке прямо на электроплитке между банками с морилкой. Мне было двадцать два, я только что защитила диплом в ННГАСУ по деревянному модерну Поволжья, и Лев Аркадьевич называл меня «девочкой с руками», что в его устах было выше любого ордена.

Олег пришёл в марте шестнадцатого года. Я стояла на коленях перед комодом карельской берёзы и снимала скальпелем советский лак — третий слой, самый противный, с пузырями. Дверь звякнула, по ступенькам спустились дорогие ботинки, и голос сверху сказал:

— Мне сказали, тут лучшие в городе.

— Тут лучшие в городе, — ответила я, не поднимая головы. — Но вы стоите на моей шкурке.

Он отступил. Наждачная бумага у него под подошвой была двухсотая, и я её действительно потом искала.

Ему нужно было отреставрировать буфет для матери: дубовый, конец девятнадцатого века, с резными виноградными гроздьями и облупившейся амальгамой на зеркале. Тамара Ильинична хотела получить его к шестидесятилетию.

— Я хочу, чтобы это делали вы, — сказал Олег, когда Лев Аркадьевич показал ему наши работы. Он ткнул пальцем в фото резной этажерки, которую я восстанавливала полгода.

— Почему я?

— Потому что вы на меня не посмотрели, когда я вошёл. Все смотрят. А вы смотрели на свой комод.

Тогда мне показалось, что это комплимент. Сейчас, лёжа рядом с его храпом, я думала, что это был, наверное, единственный честный ответ, который он мне дал за восемь лет. Его зацепило, что я на него не смотрю. Остальные восемь лет он потратил на то, чтобы я смотрела только на него.

Ухаживал он красиво. Нет, правда красиво — я не собираюсь сейчас врать себе задним числом. Он не дарил банальные розы: он узнал, что я люблю старые дома, и повёз меня в Городец смотреть наличники, а там оказалось, что половину наличников на Набережной резал мой отец, и Олег слушал папины рассказы два часа и задавал вопросы. Папа потом сказал мне только: «Гладкий». Больше ничего. Я решила, что это о костюме.

Он сидел в мастерской до ночи и смотрел, как я работаю, так, будто это было кино. Когда я закончила буфет, Тамара Ильинична обошла его три раза, провела пальцем по грозди винограда и сказала: «Сносно». Олег рассмеялся и сказал мне на ухо: «Это высший балл. Мне она за всю жизнь так ни разу не сказала».

Через год мы поженились. Одиннадцатое октября, золотая осень, фотосессия на Чкаловской лестнице, гости, о которых я знала только имена и должности. Мои сбережения — за пять лет работы, на собственную мастерскую, которую я когда-нибудь открою, — ушли на квартиру на Покровке. «Нашу первую», сказал Олег. «Оформим на фирму, так налоги меньше, это просто техника». Я подписала. Я тогда всё подписывала — у меня было ощущение, что жизнь наконец перестала быть черновиком.

А потом он стал выключать меня. Мягко, по одному тумблеру.

«Зачем тебе пыль, у тебя есть я». Это было на второй месяц, когда я пришла домой с опилками в волосах. Он вытащил стружку у меня из чёлки, поцеловал в нос и сказал это так нежно, что я засмеялась.

«Солнце, ну какая Ильинка, ты же устаёшь». Это на четвёртый.

«Мама приезжает в субботу, ты же не поедешь на объект». Это на шестой.

«Я не хочу, чтобы мою жену видели на лесах в рабочем комбинезоне. Пойми меня правильно». Это на восьмой.

А на десятый Лев Аркадьевич позвонил и спросил, выйду ли я на реставрацию иконостаса в Пешеланской церкви, и я сказала: «Лев Аркадьевич, я пока не могу». И он помолчал и сказал: «Понимаю, Алиночка». Он понимал лучше меня.

Мама тогда уже болела. Олег оплатил ей клинику в Москве. Это правда, и я буду помнить это всегда, потому что правда не перестаёт быть правдой оттого, что человек оказался сволочью. Он оплатил клинику, а потом ещё полгода напоминал мне об этом — не словами, тоном. Когда мамы не стало, в двадцатом, я полгода не вставала с дивана. А когда встала, работы уже не было. Был Олег, был дом, были его ужины, его партнёры, его мать по средам и по воскресеньям.

И было слово, которое я услышала впервые на третий год, через стену, из кухни, где Тамара Ильинична пила чай с сыном.

«Олежек, ну что ты от неё хочешь. Она пустая».

Он тогда не возразил. Я ждала, лёжа в спальне, — секунду, две, десять. Он сказал: «Мам, давай не будем». Не «ты не права». Не «это неправда». «Давай не будем».

Мы и не стали. Восемь лет.

Детей «пока рано», говорил Олег мне. А матери, как я узнала гораздо позже, говорил, что я «не могу». Я этого тогда не знала. Я только видела, как Тамара Ильинична смотрит на мой живот, когда я снимаю пальто, — как приёмщик ОТК на бракованную партию.

* * *

Воскресенье прошло так, будто ничего не случилось. Это был мой первый в жизни шпионский день, и я провела его блестяще.

Я сварила Олегу кофе — без кардамона. Пожарила яичницу с беконом. Он сидел за кухонным островом в серой футболке, листал новости и рассказывал, что Рябов из охраны памятников «наконец-то вменяемый человек». Я кивала. Он спросил, понравился ли мне браслет. Я сказала, что он прекрасен. Он сказал: «Носи. А то ты вечно всё в коробку». Я сказала, что надену на выход.

Я весь день простукивала его, как старую мебель: снаружи полировка, а внутри, может, жучок прошёл все ходы. Улыбку. Голос. То, как он целует меня в макушку, уходя «в зал». В зал он брал сумку, а в сумке, когда он отвернулся, я увидела пакет из «Детского мира».

Синий. С зайцем.

Я закрыла сумку и пошла протирать подоконники. Подоконников в пентхаусе было одиннадцать. Я протёрла все. Потом протёрла ещё раз.

Вечером он сказал, что завтра с утра будет на Ривьере: приёмка второй очереди, потом обед с подрядчиками там же, в шоуруме. Обычный понедельник.

— Ты на машине завтра? — спросил он, не поднимая головы от планшета.

— Не знаю. А что?

— Ничего. Просто так.

Ничего не бывает просто так. Мою белую «Тигуан» он подарил мне на пятую годовщину. Вместе с подарком в бардачке лежал договор с охранной компанией: «Там трекер, Аль. Если угонят — найдём за пять минут». Я тогда умилилась.

Теперь я лежала вторую ночь без сна и думала: за пять минут. Меня — за пять минут.

* * *

В понедельник утром я оделась так, как не одевалась восемь лет. Старые джинсы, которые Олег называл «сантехническими». Свитер грубой вязки, мамин. Кроссовки. Волосы скрутила в узел и заколола карандашом — простым, твёрдо-мягким, с изгрызенным концом. Я не делала так с тех пор, как ушла из мастерской. Карандаш вошёл в волосы, как ключ в старый замок.

Машину оставила в паркинге. Пусть трекер думает, что я дома.

До нижней станции канатной дороги я дошла пешком, по набережной, вниз по ступеням Чкаловской лестницы. Небо лежало на Волге, как мокрая простыня, пахло речной водой и листьями. Внизу, у реки, ветер дул так, что глаза слезились. Это было удобно: можно было не разбираться, отчего именно они слезятся.

В восемь лет мы с папой зависли на канатке посреди Волги из-за ветра, и я не испугалась, а спросила, из чего сделан трос. Папа ответил: «Из терпения, доча». Я потом долго верила, что терпение — это металл.

Сейчас кабинки были новые, чистые, с наклейками про безопасность. Я купила билет, села одна. Кабинка поплыла вверх, и Нижний начал отъезжать назад — кремль, купола и наша башня на Верхневолжской, где на последнем этаже стоял аквариум с подсветкой и двумя одинаковыми коробочками в прихожей.

Под ногами была Волга. Серая, огромная, равнодушная. Над пролётом кабинку качнуло ветром, и я подумала: вот сейчас, если что-то сломается, если трос окажется не из терпения, — что про меня скажут? «Жена Воронцова». В некрологе так и напишут. Не реставратор. Не дочь Сергея Лебедева. Жена.

Кабинка дошла до опоры, тряхнулась и пошла вниз, к Бору.

От станции на борском берегу до «Волжской Ривьеры» было двадцать минут пешком. В жизни Ривьера оказалась точь-в-точь как на рендерах: десять одинаковых бежевых башен у воды, стеклянные балконы, пальмы в кадках, которые на зиму, наверное, увозят в теплицу, и над всем этим огромная растяжка с лицом моего мужа. «Жизнь, которую вы заслужили».

Шоурум стоял у въезда, стеклянный куб с кофейней на первом этаже. Перед ним — чёрный GLS, тот самый, с номером 777, который Олег называл «просто красивым».

Я не стала подходить близко. Встала за рекламной стелой с планировками — «Трёхкомнатная, 94 квадратных метра, вид на Волгу» — и посмотрела через стекло.

Они сидели у окна. Олег — спиной ко мне, в сером пальто, которое я в субботу забрала из химчистки. Напротив него — девушка. Светлые волосы, длинные, гладкие, как на рекламе шампуня. Бежевый свитер, просторный. Ресницы, которые были видны даже отсюда. Я её узнала. Корпоратив прошлого декабря: она подошла ко мне, представилась: «Яна, я новенькая в пиаре», — и сказала, что у меня потрясающее платье. Я тогда подумала, какая милая девочка. Совсем ребёнок.

Ребёнок.

Она что-то говорила, смеялась. Олег протянул руку через стол и положил ладонь ей на живот. Не на секунду. Надолго. Медленно повёл ладонью, как ведут по столешнице, проверяя, ровно ли легла политура. И замер. И я увидела в стекле, в отражении его лица, которое смотрело в сторону, на Волгу, — я увидела, как он улыбнулся.

Я никогда не видела у него такой улыбки. За восемь лет — ни разу. Не билбордной, не для мамы, не для партнёров. Простой. Глупой. Счастливой.

Я стояла за стелой «Трёхкомнатная, 94 квадратных метра» и не чувствовала ничего. Совсем. Как будто меня кто-то аккуратно вынул из тела, положил в коробку с золотой каймой и закрыл крышку.

Потом коробка открылась.

Знаете, что я почувствовала первым? Не боль. Не ревность. Облегчение. Огромное, стыдное, как вдох после того, как долго сидишь под водой. Значит, не я. Значит, не потому, что я пустая. Значит, всё это время просто не было меня — а был кто-то другой, на кого он смотрел вот так.

А вторым я почувствовала злость. Такую, от которой у меня зачесался шрам на ладони.

Восемь лет. Восемь лет я варила ему кофе без кардамона.

Я отошла от стелы, развернулась и пошла обратно к канатке. По дороге поймала себя на том, что смотрю на плитку под ногами: в трёх местах просела. Олег всегда экономил на основании, а фасад делал красивым.

На станции я села на скамейку и достала телефон.

У Кати был один из трёх номеров в моём телефоне, которые Олег не знал наизусть. Мы дружили с первого класса, со школы номер один на Варварке, и Олег её не выносил: «Твоя Мухина разводится уже второй раз, она тебя научит плохому». Последние два года мы виделись тайком, в кофейне на Ильинке, а Олегу я говорила, что хожу на маникюр.

Катя взяла с первого гудка. На заднем фоне гудел суд — я узнала этот звук, гулкий коридор, чей-то плач, чей-то крик «Мухина, ты мне ещё за алименты ответишь».

— Лебедева, — сказала Катя. Она одна называла меня девичьей фамилией и делала это демонстративно. — Ты же на маникюре в среду. Сегодня понедельник. Что случилось?

Я посмотрела на Волгу. Кабинки плыли над водой, одна за другой, красные, синие, белые, на тросе из терпения. Мимо меня прошла женщина с коляской. В коляске спал младенец в синем комбинезоне с зайцем.

Я засмеялась. Тихо, коротко, сама себе.

— Кать, — сказала я. — Мне нужен адвокат.

Пауза. Катя умела держать паузы лучше, чем кто-либо из моих знакомых. В зале суда её паузы стоили дороже, чем у других речи.

— Поняла. Что ещё?

Я подумала. Посмотрела на свои руки. Нюдовый маникюр облупился на большом пальце — когда я стояла за стелой, я, оказывается, ковыряла ногтем пластик.

— И, кажется, вино.

Глава 2. Брачный договор

Катя сказала по телефону три вещи, коротко, как диктуют номер статьи.

— Первое. Ничего не бей: битая посуда — это эмоции, а эмоции в суде стоят дёшево. Второе. Найди брачный договор. Я тебе ещё в семнадцатом говорила, что ты дура. Третье. Если поднимет руку — звони мне, потом в полицию. В таком порядке, я быстрее.

— Он не поднимет.

— Они все не поднимают. До первого раза. Я заканчиваю в семь. Вино у меня есть, кот тоже.

Олег вернулся в восемь. Лифт открылся прямо в прихожую, ключи звякнули о фарфоровую чашу на комоде. Потом стало тихо.

Я сидела в гостиной на диване цвета «кашемир», в сантехнических джинсах и мамином свитере, с карандашом в волосах. На журнальном столе передо мной стояли две красные коробочки Cartier, крышками нараспашку. Два одинаковых браслета на бархате, как улики в музейной витрине.

Олег посмотрел на них. Потом на меня. Он был умный человек, мой муж: дураки не строят по десять башен на Бору. По лицу я видела, как он прикидывает: что она знает, откуда, сколько.

— Ты чего так оделась?

Хороший ход. Прежняя я начала бы оправдываться за свитер.

— Я сегодня была на Бору, — сказала я. — Смотрела через стекло твоего шоурума. Хорошая там кофемашина. «Ла Марзокко». Ты на ней не сэкономил.

Он помолчал. Повесил пальто на плечики, налил себе виски, два пальца без льда, и сел в кресло напротив. Не ко мне на диван. Напротив. Как на переговорах.

— Ну. Значит, знаешь.

Я ждала чего угодно: что он начнёт врать, встанет на колени, разобьёт стакан. Восемь лет я жила с этим человеком и, оказывается, понятия не имела, что он сделает, когда его поймают.

А он просто отпил виски.

— Я собирался сказать после Нового года. Спокойно, без этого всего. — Он кивнул на коробочки. — Это мой косяк, признаю. Секретарша заказывала, перепутала.

— Восемь лет мне подарки выбирала секретарша?

— Аль, не начинай. Какая разница.

— Как её зовут, Олег?

Он сцепил пальцы. Так он объяснял подрядчикам, почему смета урезана на двадцать процентов.

— Яна. Ты её видела, она работала у нас в пиаре. Сейчас уходит в декрет. — Он сказал это спокойно, даже с гордостью, как говорят «сдали вторую очередь». — Яна носит моего сына, Аля. Двадцать недель. Мальчик.

Я посмотрела на свои руки. Шрам на левой ладони был белый и ровный, как шов на хорошей обивке.

— Матери сказал?

— Скажу. Она будет рада. Ты же знаешь, как она хочет внука. — Он наклонился вперёд, и голос стал мягким, тем самым, которым он когда-то вытаскивал стружку из моей чёлки. — Давай без драмы. Тебе тридцать один, Аля. Ты пустая. Я не в обиду, правда. Я видел заключения врачей в восемнадцатом.

Я помнила тот год. Врач в клинике на Белинке сказал: «Всё в пределах нормы, Алина Сергеевна, расслабьтесь». А Олег забрал бумаги и сказал, что сам «изучит». Я тогда подумала: какой заботливый.

— Там было написано, что я здорова.

— Там много чего было написано. Неважно. — Он обвёл рукой гостиную: окна, Волгу, картину над камином, купленную на аукционе, потому что «это вложение». — Я дал тебе хорошую жизнь. Где бы ты была без меня? В подвале на Ильинке, стружку нюхала. Снимала бы однушку в Сормове. Я дал тебе восемь лет. Хватит. Я тоже имею право на семью.

Он говорил без злобы. Вот что было страшнее всего. Рассудительно, немного устало, как человек, который долго нёс груз и наконец решил поставить его на землю. Он правда считал, что восемь лет меня содержал, как содержат дачу или неудачный актив, который жалко продать.

— И что ты предлагаешь? — Голос у меня был ровный, как у диктора.

Он оживился. Он любил предлагать.

— Развод мне сейчас вообще не в тему. Тендер по Кашино, Рябов, кредитная линия на «Кашино Парк». Банкиры любят стабильность. Давай так: живём как живём до весны. Ты в своей спальне, я — как получится. На людях всё как было, мама пока не знает. В марте тихо разводимся, я снимаю тебе квартиру и даю денег на первое время. Не обижу.

— «Для приличия».

— Ну да. Это разумно, Аль. Тебе самой так проще.

Я встала. Он чуть напрягся — видимо, ждал битой посуды. Но я прошла мимо бара в кабинет.

Сейф был за ореховой панелью, которую я делала сама в девятнадцатом, когда Олег милостиво разрешил мне «поиграться». Код — его день рождения. Он не считал нужным его скрывать. Зачем скрывать что-то от мебели.

Синяя пластиковая папка с надписью маркером «Брак. Док.». Свидетельство, паспорта и восемь страниц, скреплённых степлером, с печатью нотариуса Гуськовой А. В.

Девятое октября семнадцатого года, за два дня до свадьбы. Кожаные кресла на Большой Покровской. «Это формальность, малыш, для банка. Чтобы тебя не трясли по моим долгам. Это тебя защищает». Нотариус читала быстро и монотонно, а я думала, успеет ли швея подшить платье. Подписала все восемь страниц. Олег поцеловал меня в макушку прямо при нотариусе.

Я села на ковёр и начала читать. Медленно, как надпись на старой балке, по букве, разбирая под слоем грязи.

«Имущество, приобретённое в период брака, является собственностью того из супругов, на имя которого оно оформлено, либо собственностью юридического лица, участником которого является один из супругов».

«В случае расторжения брака супруг, не имеющий самостоятельного дохода, не вправе претендовать…»

Пентхаус — на «ВолгаСтройИнвест». Дом в Ратманихе — тоже. Машина — по лизингу на фирму. И квартира на Покровке, «наша первая», куда ушли мои пять лет работы, каждая шкурка, каждая ночь над буфетом его матери, — на «ВолгаСтройИнвест».

На мне было только то, что было на мне. Свитер. Джинсы. Карандаш.

Олег стоял в дверях кабинета.

— Ну зачем ты это. Я же сказал, не обижу.

— Покровка, — сказала я, не поднимая головы. — Там мои деньги. Пятьсот восемьдесят тысяч. Я пять лет копила.

— Это были наши деньги. Мы были семья. — Он пожал плечами. — Ты подписала, Аль. Тебя никто не заставлял. Читать ты умеешь.

Я подняла на него глаза. Злость была утром, на Бору. Сейчас было другое — холодное и ясное, как бельё, которое зимой встаёт во дворе колом. Восемь лет я видела его через три слоя лака: влюблённость, благодарность, страх. Теперь лак слез. И под ним был обычный муж-

чина, немного уставший, немного полнеющий, очень уверенный, что купил меня и имеет право выставить на «Авито».

— Хорошо, — сказала я.

— Вот и умница. Я знал, что ты разумная.

— Я ухожу. Сегодня.

* * *

Чемодан у меня был один. Не из гордости: остальные были его, алюминиевые, с его инициалами. Мой — синий, тряпичный, с отломанным колёсиком — я привезла из Городца, когда поступала в институт. Он лежал на антресоли за ёлочными игрушками.

Я сложила туда только то, что купила сама, до него. Таких вещей оказалось мало. Джинсы, свитера, клетчатая рубашка, в которой я работала на лесах в Пешелани. Простое хлопковое бельё, не кружевное, что он дарил на Восьмое марта. Старый ноутбук с наклейкой «Деревянное зодчество — это не скучно». Фотография мамы и папы на фоне городецких наличников, в рамке, которую сделал папа.

Браслеты я оставила на журнальном столе. Пусть секретарша разберётся.

Потом я пошла в кладовку. Там стояли клюшки для гольфа, в который Олег ни разу не играл, и в самом дальнем углу, за пылесосом, — сосновый ящик с медными уголками и ручкой из ремня. Папа сделал его мне на окончание школы. Олег четыре раза пытался его выбросить: «Аль, это хлам». Я четыре раза доставала ящик из мусорного пакета и прятала всё дальше. В последний раз — за пылесос, куда Олег не заглядывал никогда в жизни: пылесос — не его зона.

Я открыла крышку, и запах ударил в лицо так, что я села на пол. Олифа, машинное масло, сосна, старая кожа. Запах папиной мастерской. Запах меня, которой не было восемь лет.

Стамески лежали в своих гнёздах рядами, как солдаты, каждая в промасленной тряпочке. И в отдельном гнезде, в бархатном чехле, — мамина.

Полукруглая, двенадцать миллиметров, рукоять из груши, отполированная маминой ладонью до шелкового блеска. На торце выжжено: «Н. Л.». Надежда Лебедева. Половина «солнышек» и виноградных листьев на наличниках городецкой Набережной — её.

Я сжала стамеску в левой руке. Рукоять легла прямо на шрам.

Мне было девятнадцать. Мама учила меня вести полукруглой по волокну: «Не дави, доча, дерево само скажет». А я давила, потому что хотела быстрее и всё знала лучше. Стамеска сорвалась с заготовки и вошла в ладонь. Папа вёз меня в травмпункт на «Ниве», мама держала мою руку в полотенце и всю дорогу говорила: «Ничего, ничего. Теперь дерево тебя знает. Теперь ты своя». Шесть швов. Входной билет.

Я сидела на полу кладовки пентхауса и думала: вот. Вот это у меня есть. Это никто не оформил на «ВолгаСтройИнвест».

Ящик весил килограммов двенадцать. Олег стоял у бара и смотрел, как я волоку его по паркету. Не помог. Я бы и не дала.

— Серьёзно? С этим барахлом?

— С этим барахлом.

Он усмехнулся и оперся плечом о стену у лифта. Высокий, гладкий, белозубый. Хозяин.

— Аля. Ты вернёшься через неделю. — Без угрозы, как прогноз погоды. — Тебе некуда. Ни денег, ни работы, ни друзей — одна Мухина в однушке с котом. Тебя восемь лет нигде не было, тебя никто не возьмёт. Поплачешь, поймёшь, что жизнь не кино, и вернёшься. Я даже замки менять не буду.

Я нажала кнопку лифта.

— Олег, ты знаешь, как называется, когда под свежей краской гниёт основание?

Он поднял бровь.

— Ремонт под продажу, — сказала я. — Я восемь лет была ремонтом под продажу. Спасибо, что наконец продал.

Двери открылись. Я вкатила чемодан, втащила ящик. И в первый и последний раз увидела у него на лице растерянность — на долю секунды, как трещина, которая мелькнула и снова ушла под лак.

В лифте было зеркало. В нём стояла маленькая женщина с карандашом в волосах, в мамином свитере, с чемоданом и деревянным ящиком. Бледная, в веснушках, с совершенно сумасшедшими глазами.

Женщина мне понравилась.

* * *

Катина однушка на Ильинке была на втором этаже старого кирпичного дома с рябиной во дворе: высокие потолки, лепнина, которую Катя называла «моя пенсия», полки с Гражданским кодексом всех годов издания. На подоконнике сидел кот — огромный, серый, с белой манишкой и лицом судьи, который выслушивает подсудимого, трижды сменившего показания.

— Знакомься, Адвокат, — сказала Катя. — Он тут главный, я на подхвате.

Адвокат обнюхал мой ящик, чихнул от олифы и вернулся на подоконник.

— Одобрил, — сказала Катя. — Мой второй муж за три года не получил одобрения.

Катя была в футболке «Не звоните мне до кофе», в трениках, босиком, короткая чёрная стрижка торчала во все стороны. На столе — «Саперави» и пачка Parliament, хотя курила она «только по особым случаям». Судя по пепельнице, особых случаев у неё было много.

Она налила два бокала до краёв, как не наливают в ресторанах, и пролистала синюю папку — быстро, молча. На седьмой странице сказала такое, что Адвокат повернул голову.

— Гуськова. Конечно, Гуськова. Ладно, потом. Сегодня я не юрист, сегодня подруга. Рассказывай.

И я рассказала. Про тот же браслет. Про «Он толкается». Про пакет с зайцем, про канатку, про его руку на её животе. Про «ты пустая».

И где-то на «секретарша перепутала» я начала смеяться.

Сначала тихо, потом громче, пока вино не расплескалось на стол, на папку, на «Гуськову А. В.». Я сползла со стула на пол и хохотала, держась за живот, — за свой пустой живот, — а Катя смотрела на меня сверху без улыбки, внимательно, как врач.

— Секретарша, Кать! — выговорила я. — Она мне на прошлый Новый год сковородку подарила! «Тефаль», с красным пятнышком, которое показывает, что нагрелась! А он сказал, сам выбирал! Я ещё думала: как трогательно, запомнил, что я жаловалась на старую!

Катя села на пол рядом со мной, прямо в разлитое вино.

— Я его убью, — сказала она деловито. — Не физически. Юридически. Это хуже.

И я перестала смеяться. Резко, будто в старом доме выбило пробки. Лицо вдруг стало мокрым, и я ревела громко, некрасиво, как в детстве, когда упала с велосипеда на гравий. Про маму, которой нет. Про пять лет на Покровке. Про кофе без кардамона. Про тридцать один год. Про «пустая».

Катя обняла меня и молчала. Молчать в нужных местах она умела профессионально.

Адвокат спрыгнул с подоконника и улёгся мне на ноги — всеми восемью килограммами, тяжело и тепло, как мешок с песком на дамбе. И замурчал на всю кухню, как старый холодильник «ЗИЛ».

Мы просидели на полу втроём до двух ночи. Когда второе «Саперави» кончилось, Катя постелила мне на диване, кинула плед в шотландскую клетку и сказала, выключая свет:

— Лебедева. Завтра в девять — без слёз, с кофе. Будем строить план. И знаешь что? Брачный договор, подписанный за два дня до свадьбы, у нотариуса, который читает быстрее аукциониста, без твоего собственного юриста, — это не приговор. Это моя любимая игрушка.

Я лежала в темноте и слушала, как по Ильинке шуршат шины. Адвокат пришёл и лёг мне на живот.

Ну и что, что пустой, подумала я. Пустой ящик тоже можно наполнить. Главное, чтобы ящик был твой.

Ящик стоял у дивана. В темноте мне казалось, что от него пахнет грушевым деревом и маминными руками.

Я заснула впервые за двое суток.

Глава 3. Чужая жена

Катя строила план на обороте распечатки постановления пленума Верховного суда, потому что другой бумаги в доме не нашлось. Красной ручкой, крупно, с нажимом, как на школьной доске. Адвокат сидел на столе и следил за ручкой, готовый вмешаться.

— Смотри, Лебедева. Статья сорок четыре Семейного кодекса: брачный договор можно признать недействительным, если он ставит супруга в крайне неблагоприятное положение. Ты в нём, извини, вообще не человек. Ты приложение к имуществу.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Дальше. — Красная стрелка вниз. — Подписан за два дня до свадьбы, у его нотариуса, без твоего юриста, в спешке, под давлением. Твои пятьсот восемьдесят тысяч ушли в Покровку — докажем выписками, если сохранились.

— Сохранились. Я реставратор, я ничего не выбрасываю.

— За это я тебя и люблю. — Катя нарисовала звёздочку. — Третье. Ребёнок на стороне, зачатый в браке. Юридически это ничего не даёт. Но судья тоже женщина, и чаще всего замужняя. Это даёт атмосферу.

Она посмотрела на меня поверх кружки.

— Только учти: это полгода минимум. Он будет давить деньгами, людьми, слухами. Воронцов в этом городе не человек, а ландшафт. Рябов в охране памятников, половина подрядчиков, мэрия на «ты». Готова?

— Нет, — сказала я честно. — Но у меня нет другого варианта.

— Правильный ответ. Готовых не бывает. Бывают те, у кого нет другого варианта. Они и выигрывают.

* * *

Олег заблокировал карты в среду.

Я узнала об этом в «Пятёрочке» на Ильинке, с кошачьим кормом для Адвоката, двумя йогуртами и пачкой кардамона — первой за восемь лет, которую я купила себе сама. Платиновая карта, дополнительная к его счёту, пискнула: «Отказ. Обратитесь в банк».

— Ещё раз приложите, — сказала кассирша с фиолетовыми ногтями.

«Отказ».

Сзади стояли дедушка с кефиром, студенты с энергетиками и мальчик, который ныл про «Киндер». Все смотрели на меня. Я чувствовала их взгляды затылком, как сквозняк.

— Может, другой картой? — Кассирша уже смотрела так, как смотрят на женщин, которые расплачиваются чужими деньгами.

Другая была. Старая зелёная зарплатная карта ещё со времён «Старого города», в кармашке паспортной обложки. Туда изредка капали проценты, а однажды папа перевёл пять тысяч на день рождения «на ерунду, чтобы не спрашивать у этого».

«Одобрено».

На углу Ильинки и Добролюбова я открыла приложение. Двадцать три тысячи четыреста рублей. Итог восьми лет брака, пяти лет работы, диплома с отличием и тридцати одного года жизни. Олег тратил больше на один ужин с Рябовым.

Я засмеялась. Прохожий с собакой обошёл меня по дуге.

Дома — у Кати дома — я посчитала. Корм, проезд, еда без излишеств, телефон. Если ничего не случится, хватит месяца на два. Если случится — на неделю. И поняла, что восемь лет не знала, сколько стоит хлеб. Продукты заказывала домработница, Олег видел каждую позицию. «Аль, зачем тебе сыр за девятьсот, ты его всё равно не ешь». Я думала, это забота.

Это был не сыр. Это был поводок.

* * *

Тамара Ильинична позвонила в четверг, в восемь утра. Без видео.

Голос был тот же, школьный, с металлом, от которого вздрагивали поколения девятиклассников. Но без жемчуга и прямой спины на экране я вдруг услышала то, чего не замечала раньше: она говорила быстрее обычного. Как человек, который написал речь на листке и боится сбиться.

— Девочка. Я всё знаю. Ты устроила истерику и ушла из дома. В годовщину. Алина, женщине всегда обидно, когда так получается. Но Олегу нужен наследник. Ты сама знаешь, что не можешь его дать.

— Я могу. Я здорова. Это Олег вам сказал, что не могу.

Тишина на полсекунды, как сбой в записи. Потом снова по листку:

— Это неважно. Ты живёшь у этой своей адвокатши, ходишь по городу в тряпье. Люди видят. Ты носишь фамилию Воронцовых, пока ещё носишь. Девочка, не позорь фамилию. Вернись, веди себя достойно, а весной Олег всё решит по-человечески. Он щедрый.

Я сидела на Катином диване в пледе, с кофе. За окном моросило, рябина во дворе облетела и стояла голая, в красных гроздьях, как в бусах.

— Тамара Ильинична, можно вопрос? Вы когда-нибудь уходили от мужа?

На том конце стало очень тихо. Секунды три. Я слышала, как у неё в квартире тикают напольные часы с маятником — те, что я настраивала ей позапрошлой зимой.

— Это не твоё дело, — сказала она совсем другим голосом. Не школьным.

И положила трубку.

Я не знала, почему спросила. Просто увидела сквозь три слоя лака, что эта женщина читает по листку. А по листку читают те, кто боится сказать своё.

* * *

В пятницу я надела единственное приличное, что у меня было, — мамин серый кардиган поверх белой рубашки, — и пошла вниз по Ильинке, в «Старый город».

Те же семь ступенек в полуподвал, тот же колокольчик над дверью, тот же запах: олифа, клей, стружка, шеллак и кофе из турки. У меня подкосились ноги, и я встала на пороге, держась за косяк.

Лев Аркадьевич подклеивал фанеровку на стуле бидермейер. Восемь лет назад он был похож на доброго медведя в очках. Теперь — на медведя, которого сильно обидели. Одни очки на лбу, вторые на носу, третьи на шнурке.

— Алиночка. Господи.

Он обнял меня, пахнущий клеем и табаком, и я уткнулась в его вязаный жилет. Потом он сварил кофе — без кардамона, у него никогда его не было, я всегда приносила свой, — и мы сидели на табуретках у верстака, как раньше. Он жаловался, что молодёжь не умеет держать стамеску: «Всё на фрезерах, а руками — никто».

— Лев Аркадьевич, я ушла от Олега. Мне нужна работа. Любая. Шкурить, клей варить. Руки помнят.

Он снял очки и долго протирал их краем жилета. Слишком долго. Я знаю, как выглядит человек, который тянет время перед тем, как сказать, что дерево внутри сгнило.

— Алиночка. У нас второй год подряд на «Ривьеру». Клубный дом: панели, лестница, двери. Если бы не Олег Викторович, я бы закрылся ещё в двадцать третьем. — Он не смотрел на меня. — Мне во вторник звонил его помощник. Вежливый молодой человек. Сказал, что Олег Викторович очень надеется на продолжение сотрудничества. Без осложнений.

Я поставила чашку на верстак, точно на старый круглый след от сотен других чашек.

— Я ушла в понедельник. А во вторник он уже позвонил.

— Он предусмотрительный человек, твой муж.

— Он не мой муж. То есть пока мой. Ненадолго.

— Прости старика. — Глаза у него за очками были мокрые. — У меня шесть человек. У Пети трое детей.

— У Пети трое детей, — сказала я. — Это не трусость, Лев Аркадьевич. Это несущая стена. Её не трогают.

Я поцеловала его в небритую щёку. На верстаке у двери лежала липовая доска с наброском розетки — кривым, ученическим: лепестки шли против волокна. Через неделю работы они бы откололись. Я вынула из волос карандаш и тремя линиями развернула их по волокну.

— Передайте тому, кто рисовал. Дерево надо слушать, а не уговаривать.

Колокольчик звякнул мне вслед.

* * *

Вечером Катя пришла с работы, сняла сапоги, не расстёгивая, и молча сунула мне под нос телефон.

«Нижний: подслушано». Сорок семь тысяч подписчиков, обычно — неправильно припаркованные машины и потерявшиеся котики. Пост четырёхчасовой давности, двести тридцать комментариев.

«Говорят, жена известного застройщика В. (того самого, с билбордов „Ривьеры“) сбежала от мужа к молодому любовнику. Муж в шоке. Вот такая благодарность за восемь лет красивой жизни. Девушки, пентхаус — не гарантия верности».

И фото. Я на крыльце Катиного дома, в мамином свитере, с карандашом в волосах. Рядом высокий кудрявый парень в ярко-зелёной куртке протягивает мне два пакета, а я ему улыбаюсь. Снято снизу, из-под рябины, с зумом.

— Это курьер, Кать! «Самокат»! Он во вторник принёс корм, я сказала, что он спас кота от голодной смерти, он засмеялся. Его зовут Тимур, он из Чебоксар!

— Я знаю, что курьер. Вопрос не кто это. Вопрос — кто стоял под нашей рябиной с телефоном.

Я пролистала комментарии. Не надо было, но пролистала.

«Молодец, нашла помоложе».

«Сначала доят мужика, потом к курьерам бегут».

«Олег Викторович, держитесь, мы с вами!» Три сердечка.

«А я её знаю, она в мастерской на Ильинке работала, нормальная девчонка была. Что-то тут не так». Аватарка — стул бидермейер. Под ним восемьдесят ответов, в основном про «нормальную девчонку» и её родственников.

Я положила телефон экраном вниз. Как Олег.

— Удалить можно?

— Через день-два удалят. Но его уже скриншотнули в три чата, и завтра это обсуждает каждый салон красоты от ярмарки до Автозавода. — Катя закурила прямо на кухне, чего не делала никогда. — Красиво работает. Ты ещё на развод не подала, а уже «сбежала с любовником». В суде будет: ушла сама, к другому, мужа бросила. Ты в этой картинке — чужая жена. Которая сама во всём виновата.

Я смотрела на рябину. Кто-то, кому заплатил Олег, ждал под ней, пока я выйду в мамином свитере.

— Кать. Я хочу работать. Не только из-за денег. Я хочу, чтобы если в этом городе обо мне говорят — то про то, что я сделала руками. А не про то, с кем я сплю. Или не сплю.

— Тогда нужен заказ не в Нижнем, — сказала Катя. — Здесь он всех обзвонит. Нужно туда, куда у него руки не дотягиваются.

— У него везде дотягиваются.

— Не везде. Я разводила жену прокурора. Поверь, везде не дотягиваются ни у кого.

* * *

Резюме я рассылала всю ночь, с ноутбуком на коленях. Городецкий музей, Семёнов, Кострома, Плёс, три московских бюро, которые восстанавливают усадьбы. Фонд «Старый Нижний» — хотя Олег у них в попечительском совете. HeadHunter: «Реставратор деревянной архитектуры, опыт — пять лет, перерыв — восемь лет».

В графе «Причина перерыва» я написала «Семейные обстоятельства». Стёрла. Написала «Была замужем». Стёрла. Оставила пустой.

Выходные почта молчала. Пришла только подборка с HeadHunter: «Продавец-консультант в мебельный салон», «Оператор колл-центра», «Помощник по хозяйству в загородный дом, проживание, без вредных привычек». Последнее я перечитала дважды. Восемь лет я уже была помощником по хозяйству с проживанием. И без вредных привычек: Олег их не одобрял.

В воскресенье вечером позвонил папа. Он звонил раз в неделю, по воскресеньям, в девять, и всегда начинал одинаково:

— Ну.

— Нормально, пап.

Он помолчал. Папа умел молчать так, что в трубке было слышно, как в Городце идёт дождь по жестяному подоконнику мастерской.

— Мне Катерина звонила, — сказал он наконец. — Приезжай.

— Не сейчас, пап. Я сначала сама. Ладно?

— Сама, — повторил он, будто пробовал слово на зуб, как гвоздь на прочность. — Ну, сама так сама. Ключ под крыльцом, где всегда.

И положил трубку, не прощаясь. Ключ под крыльцом лежал там с девяносто девятого года. Я никогда им не пользовалась: дома всегда кто-то был. Но в ту ночь я засыпала, думая о нём, — ржавом, на гвоздике, под второй ступенькой, — как о самой надёжной вещи на свете.

В понедельник, двадцатого октября, в девять ноль две, когда Катя уже ушла в суд, а я варила кофе в её единственной турке, ноутбук тренькнул.

«От кого: Брагин Георгий, „Елагин Двор“ Тема: Предложение о работе — реставрация объекта XIX века

Уважаемая Алина Сергеевна!

Гостиничная группа „Елагин Двор“ ищет специалиста по реставрации деревянной архитектуры для обследования и восстановления флигеля 1842 года в усадьбе Кашино (65 км вверх по Волге от Нижнего Новгорода).

Нам рекомендовали вас как лучшего специалиста в области по деревянному модерну и усадебной архитектуре. Объект в аварийном состоянии, работа сложная, длительная, с проживанием на месте. Оплата достойная, обсуждается лично.

Приглашаем на осмотр объекта в четверг, 23 октября, в 11:00. Владелец будет на месте.

С уважением, Г. Брагин, юридический отдел».

Кофе зашипел и полез через край. Я не стала снимать турку.

Лучший специалист в области. Нам рекомендовали.

Кто? Меня восемь лет не было. Лев Аркадьевич сказал бы. Музею я написала только в пятницу ночью. Вряд ли «лучших в области» ищут на HeadHunter между продавцами-консультантами.

Я вбила в поиск «Елагин Двор». Три загородных отеля: Семёнов, Городец, Арзамас. Бревенчатые корпуса, банные чаны, хаски в вольерах. Владелец — Елагин Марк Андреевич. Фото нет. Одна заметка двухлетней давности: «Бывший спасатель МЧС вкладывается в загородный туризм». И свежая, сентябрьская: «Усадьба Кашино: битва за аукцион. Претенденты — „Елагин Двор“ и ГК „ВолгаСтройИнвест“».

«Отельер-пожарник, который лезет под Кашино. Надо бы поставить его на место».

Кофе выкипел до дна, по кухне поплыл горький жжёный кардамон. Адвокат ушёл в комнату с видом человека, который не хочет быть свидетелем.

Враг моего врага. Шестьдесят пять километров вверх по Волге. Флигель 1842 года. Проживание на месте — там, где никто не стоит под рябиной с телефоном.

Слишком похоже на удачу. А в удачу я перестала верить примерно на третий год брака.

Я положила руку на мамину стамеску в бархатном чехле. Рукоять была тёплая. От батареи, конечно.

Конечно, от батареи.

Я нажала «Ответить».

Глава 4. Марк. Чужая жена

Будильник я ставлю на пять сорок. Встаю в пять тридцать девять. Девять лет так. Тело помнит смены лучше, чем голова.

Суббота, восемнадцатое октября. За окном темно, над прудом туман, липы в парке стоят мокрые, чёрные. Дом пахнет сосной: я строил его два года назад, и он до сих пор пахнет, как будто только что из леса. Соне нравится. Она говорит, что дом «дышит».

Я поставил турку. Чёрный, без сахара. Пока варился, открыл холодильник. Творог, яйца, мука. Вчера купил в райцентре, специально. Суббота у нас — сырники. Это было в договоре. Договор подписан фломастером на листке из альбома для рисования и висит на холодильнике под магнитом в виде лошади:

«Папа обязуется по субботам делать сырники. Соня обязуется не рисовать на обоях. Подписи».

Подпись Сони — лошадь. Моя — закорючка.

В шесть ноль пять позвонил Гоша.

— Встал?

— Давно.

— Приезжай к десяти. Есть новость. Хорошая или плохая — сам решишь.

— По телефону.

— Не по телефону, Марк. Это надо показать.

Гоша зря не говорит «надо показать». Гоша вообще зря ничего не говорит, хотя говорит много.

Я закрыл холодильник. Творог остался в нём.

* * *

Соня спустилась в семь. В пижаме с лошадями, кудрявая, мятая со сна, с рисунком в руках. Остановилась в дверях кухни. Посмотрела на пустую сковородку. Потом на меня в куртке.

— Вообще-то суббота, — сказала она.

— Знаю.

— Вообще-то у нас договор.

— Знаю, Сонь. Мне надо в город.

— Тебе всегда надо в город.

Она не плакала. Она никогда не плачет, когда я ухожу. Она плакала, когда ей было пять и уходила мать. С тех пор — нет. Это хуже, чем если бы плакала.

— Завтра сделаю, — сказал я. — Двойную порцию.

— Завтра воскресенье. Это не считается. — Она положила рисунок на стол лицом вниз. — Баба Нюра придёт?

— Придёт. С пирогами.

— С капустой?

— С капустой.

— Ладно, — сказала она тоном человека, который принимает капитуляцию, но запомнит. И ушла наверх.

Я перевернул рисунок. Лошадь. Рядом с лошадью — я, большой, квадратный, с рыжими пятнами на плече. Соня видела шрам один раз, летом, на пруду. С тех пор рисует меня с ним всегда. Рядом со мной на рисунке было пустое место. Будто кто-то должен был стоять и не пришёл.

Я положил рисунок обратно. Лицом вниз, как было.

* * *

До города ехать час. Я выехал в семь пятнадцать, но сначала свернул к флигелю.

Флигель стоит в глубине парка, за липовой аллеей. Двухэтажный, деревянный, с мезонином. Тысяча восемьсот сорок второй год. Архитектор Карл Ланге, немец, — так написано в единственной справке из областного архива, полстраницы на машинке. Больше никто ничего не знает.

Я обошёл его с фонарём. Делаю так каждое утро, когда не тороплюсь. И когда тороплюсь — тоже.

Восточный угол: нижние венцы сгнили. Палец входит в бревно, как в масло. Крыша: железо шестидесятых, ржавое, в трёх местах дыры, под ними на чердаке тазы. Тазы ставила баба Нюра. Сорок лет ставит. Крыльцо: перила резные, половины балясин нет. Наличники — те, что остались, — красивые. Я в этом ничего не понимаю. Но даже я вижу, что красивые. Птицы, листья, какие-то солнца.

Я посветил на окно второго этажа. Стекло старое, волнистое, в нём фонарь расплылся пятном.

Считал. Привычка с МЧС: прежде чем входить, оцени, сколько стоит выйти.

Венцы — заменить. Подъём на домкратах, лиственница. Миллиона три. Крыша — новая стропильная, кровля. Ещё два. Фундамент — если повезёт, подлить. Если не повезёт — разбирать. Наличники, окна, печи, полы. Реставрация, не ремонт. Человек, который умеет. Таких в области — по пальцам. Сколько стоит такой человек — я не знал.

Итого — пятнадцать. Если с умом. Двадцать — если как обычно.

И это только флигель. Главный дом стоит без крыши с девяностых. Там считать нечего. Там можно только молиться.

Пятнадцать миллионов я найду. Но на аукционе Воронцов может поставить втрое больше меня. Он это знает. Я знаю, что он знает. Единственное, что у меня есть против его денег, — этот флигель. Если флигель признают памятником, Воронцов не сможет его снести. Если не признают — через год здесь будет «Кашино Парк». Двести коттеджей, забор, шлагбаум. Липы — под бульдозер. Пруд — засыпать: на месте пруда в проекте парковка. Я видел проект.

Я выключил фонарь. Рассвело. Над Волгой, внизу, под обрывом, туман стоял стеной.

Телефон дрогнул в кармане.

Лера.

Я не видел её номер на экране девять месяцев. Последний раз — в январе: голосовое из Дубая, на фоне музыки, «с Новым годом, зайка». С опозданием на два дня.

«Марк. Я возвращаюсь. Хочу видеть дочь. И не только видеть».

Я прочитал три раза.

«И не только видеть».

Лера всегда писала на одно слово больше, чем нужно. Это лишнее слово и было главным.

Я не ответил. Сел в машину. Посидел. Завёл.

* * *

Гошин офис — на Рождественской, на третьем этаже старого купеческого дома. Вывеска: «Брагин и партнёры». Партнёров нет. Гоша говорит, что это «для солидности и на вырост».

Гоша сидел за столом, ноги на столе. Носки — розовые, с фламинго. На прошлой неделе были с авокадо. Лучший юрист по земле в области. Бабник, по его словам, «на пенсии». Пенсия, по моим наблюдениям, неполная.

— Кофе? — сказал он.

— Чёрный.

— Знаю. — Он нажал кнопку кофемашины, не вставая, ногой. Он её так настроил. Я не спрашиваю. — Садись. Помнишь, в сентябре я копал под Воронцова?

— Помню.

Гоша месяц собирал на Воронцова всё: фирмы, кредиты, Рябов, подрядчики, через какие ООО идут деньги «Кашино Парка». Искали дыру. Не нашли. Воронцов аккуратный.

— Помнишь, там была папка про жену?

Я молчал. Помню.

Гоша снял ноги со стола, открыл ящик и положил передо мной папку. Тонкую, зелёную. На обложке ручкой: «Воронцова А. С. (Лебедева)».

— Я тебе её показывал. Ты сказал — убери, мне это не надо.

— И сейчас не надо.

— Подожди. — Гоша открыл папку. — Я тогда что думал? Жена — слабое место. У всех жена — слабое место. Если жена недовольна, жена может что-то знать и что-то сказать. Я собрал. Ты не взял. Ладно. А теперь смотри.

Он положил сверху телефон. Скриншот из «Нижний: подслушано».

Женщина на крыльце. Маленькая, в большом свитере, с карандашом в волосах. Рядом парень в зелёной куртке.

«Жена известного застройщика В. сбежала от мужа к молодому любовнику».

— Это курьер, «Самокат». Пост заказной, через агентство, которое работает на «Волга-СтройИнвест». Я проверил. Она ушла от него в понедельник, тринадцатого. С одним чемоданом. Живёт у подруги на Ильинке — подруга, кстати, Мухина, семейный адвокат, зверь, я про неё слышал. Карты он ей заблокировал в среду. В «Старый город», где она работала до брака, её не взяли: у них подряд от Воронцова. Я проверил.

— Ты много проверял.

— Я юрист. Я за это деньги получаю. От тебя, между прочим.

Я открыл папку. Не хотел. Открыл.

Лебедева Алина Сергеевна. Тридцать один год. Родилась в Городце. ННГАСУ, красный диплом, диплом по деревянному модерну Поволжья. Мастерская «Старый город», 2016–2017. Отзывы: «лучшая в области по деревянной резьбе и модерну», «руки от бога», «упрямая». Замужем с 2017-го. С 2017-го — нигде.

Ниже Гошиным почерком, на полях:

«Мать умерла в 2020 (онкология). После этого — изоляция. Эмоционально нестабильна после смерти матери. Зависима от мужа. Профессионально — сильна. Если уйдёт — уйдёт с информацией».

Я закрыл папку.

— Это мерзко, Гоша.

— Это профессионально, Марк.

— Это одно и то же.

— Иногда. — Гоша поставил передо мной кофе. — Слушай меня. Я не предлагаю ничего плохого. Посмотри на ситуацию трезво. Тебе нужен реставратор. Не строитель, не прораб. Реставратор, который докажет, что флигель — сорок второго года, Ланге, подлинник. Иначе Рябов напишет, что это колхозный сарай пятидесятых, и Воронцов снесёт его в первый же день. Таких реставраторов в области — ноль. Я искал. Ты искал. Все хорошие — в Москве или на пенсии. А тут сидит у подруги на Ильинке лучшая в области. Без работы. Без денег. С двадцатью тысячами на карте, я уверен. Это первый заяц.

— А второй?

— А второй — она восемь лет жила с Воронцовым. Она знает его. Его людей. Его схемы. Может, видела бумаги. Может, слышала разговоры. Я не говорю, что её надо спрашивать. Я говорю, что если она будет работать у тебя, а не у него, — это уже хорошо. Два зайца, Марк.

Я встал. Подошёл к окну. Внизу мокрая брусчатка, туристы с зонтами, Строгановская церковь, красная и резная, как пряник.

— Я не воюю через женщин, — сказал я.

— Я знаю.

— Нет. Ты не знаешь. Ты говоришь «знаю», чтобы я замолчал и ты договорил.

Гоша засмеялся.

— Ладно. Объясни.

Я не умею объяснять. Я умею делать или не делать.

Я видел, как воюют через женщин. Лера воевала со мной через Соню. Четыре года по видеосвязи из Дубая: «Твой папа опять на работе? Он тебя одну оставил?» Соне было шесть. Она потом спрашивала меня: «Пап, а ты меня одну оставляешь?» Я перестал брать ночные смены на объектах. Перестал ездить в Арзамас. Отели держатся на управляющих, а я сижу в Кашино и строю дом на краю парка, чтобы Соня видела меня из окна школьного автобуса.

Использовать женщину, которая только что ушла от такого, как Воронцов, — чтобы достать Воронцова. Нет.

— Нет, — сказал я.

Гоша помолчал. Покрутил ручку. Потом сказал, без улыбки, — а без улыбки он говорит редко:

— Марк. Ты её не используешь. Ты её нанимаешь.

Я молчал.

— Она ищет работу. Ей нужна работа. Она разослала резюме в десять мест — я проверил, — и ей никто не ответил, потому что Воронцов всех обзвонил. Её не возьмут в этом городе даже полы мыть. А ты можешь дать ей работу по профилю. Нормальные деньги. Жильё — там, где Воронцов до неё не дотянется. Ты ей не враг. Ты единственный в области, кто не боится Воронцова и кому нужно то, что она умеет. Что тут мерзкого?

— Папка мерзкая.

— Папку я сожгу.

— Не сожжёшь.

— Не сожгу, — согласился Гоша. — Положу в сейф. Никто её никогда не увидит. Она нам больше не нужна. Мы же её не используем. Мы её нанимаем.

Я допил кофе.

— Подумаю, — сказал я.

— Подумай. Только недолго. Её сейчас все боятся взять. Через месяц кто-нибудь не испугается. Москвичи какие-нибудь. И она уедет.

* * *

Обратно я ехал через Бор. Не знаю зачем. Крюк сорок километров.

Проехал мимо «Волжской Ривьеры». Десять башен у воды. Над въездом — растяжка. Воронцов улыбается. Белые зубы, гладкий. «Жизнь, которую вы заслужили».

Вживую я видел его один раз. В сентябре, в коридоре администрации, он подошёл, протянул руку и сказал: «Марк Андреевич. Наслышан. Вы, говорят, пожарный? Ну, вы же понимаете, что на пожарах деньги не делают. Деньги делают на том, что после пожара». И засмеялся. Я руку не пожал.

За Бором пошёл дождь. Дворники, мокрый асфальт, сосны. Волга справа, серая, широкая. Я думал о флигеле. О тазах на чердаке. О том, что баба Нюра сорок лет ставит тазы под дыры, потому что «барский дом, хозяин, нельзя, чтоб гнил». О том, что деньги — найду. А человека, который знает, что делать с этими деньгами, — нет.

И о том, что на скриншоте женщина улыбалась курьеру. Двадцать тысяч на карте, муж её поливает грязью на весь город, а она улыбается курьеру, который принёс ей кошачий корм.

* * *

Сырники я сделал в воскресенье. Двойную порцию. Соня съела четыре, сказала, что «вообще-то в субботу было бы вкуснее», и ушла рисовать. Я помыл посуду.

В субботу вечером, накануне, Гоша написал в мессенджер. Я помню время: двадцать один сорок.

«Она ушла. Сейчас уже точно. Мухина готовит иск о разводе. Отправляю письмо?»

Я долго смотрел на экран. Сонина лошадь на холодильнике смотрела на меня. Подпись копытом.

Я написал: «Отправь».

Потом дописал: «Только не говори ей».

Он понял, о чём. О папке. О сентябре. О том, что мы знали её раньше, чем она узнала нас.

«Понял. В понедельник, с рабочего, утром. Красиво напишу».

«Не красиво. Честно».

«Одно другому не мешает», — написал Гоша. И смайлик. Я смайлики не люблю. Гоша знает и ставит специально.

Во вторник, двадцать первого, он позвонил в обед:

— Ответила. Коротко, по делу, без «спасибо за возможность». Четверг, одиннадцать, Кашино. Будет на автобусе.

— Почему на автобусе?

— Марк. Потому что у неё нет машины. Машина была на фирму мужа.

Я положил трубку.

Вечером, когда Соня уснула, я сидел на кухне. Свет выключил, только лампа над плитой. На столе — ноутбук. Гоша прислал мне папку в электронном виде ещё в сентябре. Я её тогда не открывал. Удалить не удалил.

Я открыл.

Справки, выписки, Гошины пометки. Последний файл — фото.

Леса у церкви. Городец, деревянный храм, старый, серебристый от времени. На лесах, метрах в шести над землёй, — девушка. Рабочий комбинезон, клетчатая рубашка с закатанными рукавами. Русые волосы, рыжие на солнце, скручены в узел, в узле — карандаш. Веснушки. Она держит в руках резной наличник, кусок старой доски с солнцем посередине, и смотрит на него. Не в камеру. На доску. Так смотрят на то, что любят. Так Соня смотрит на лошадей.

Снимок двенадцатого года, кажется. Ей лет восемнадцать. Подпись под фото, из какого-то студенческого отчёта: «Практика. Обмеры».

Я смотрел, наверное, минуту.

Потом закрыл. Закрыл папку. Закрыл ноутбук. Посидел в темноте.

Над Волгой шёл дождь. По крыше стучало — ровно, монотонно, как будто кто-то вбивал гвозди в сырую доску. Во флигеле, наверное, капало в тазы.

Чужая жена. Тридцать один год. Без денег, без работы, без машины. Едет в четверг на автобусе к человеку, которого не знает. Думает, что её нашли случайно. Что ей повезло.

Я сказал Гоше: отправь письмо. Только честное.

Он отправил. Честным оно было наполовину.

Глава 5. Под дождём

Автобус на Балахну отходил от Канавинского автовокзала в семь сорок, и в семь сорок он, разумеется, никуда не отошёл.

Это был старый жёлтый ПАЗик с иконкой Николая Чудотворца над лобовым стеклом, прилепленной на скотч. Водитель курил под навесом и всем видом показывал, что спешить в такую погоду — грех. Небо было цвета мокрого цемента. Я стояла с рюкзаком, в котором лежали ноутбук, рулетка, фонарик, влагомер, перочинный нож, бутерброд от Кати и мамина стамеска в кожаном чехле, и думала, что восемь лет не ездила на автобусах.

Восемь лет у меня был водитель. Точнее, у Олега был водитель, а я была пассажиром, которого возили по списку: салон, фитнес, мама Олега, ужин с партнёрами. Если я хотела куда-то вне списка, Олег спрашивал: «А зачем?» Через пару лет я перестала хотеть вне списка.

Тронулись в восемь двадцать. Кондуктора не было, деньги — сто восемьдесят рублей — я отдала водителю, и он посмотрел на мою купюру так, будто я расплачивалась царскими ассигнациями.

За окном поплыли Сормово, гаражи, мокрые тополя, потом трасса. Волга то показывалась справа, серая и широкая, как отрез некрашеного льна, то пряталась за перелесками. Женщина рядом со мной везла в сумке живую курицу. Курица молчала и смотрела на меня одним глазом с выражением, которое я хорошо знала по зеркалу последних десяти дней: «Как я сюда попала и что теперь будет».

— Не бойся, — сказала я ей тихо. — Меня тоже везут неизвестно куда.

Письмо, из-за которого я ехала, было коротким и вежливым. «Елагин Двор» ищет реставратора для объекта деревянного зодчества середины XIX века. Обследование, заключение, при положительном решении — ведение работ. Проживание на объекте. Оплата обсуждается. Подпись — «Г. Брагин, юридический отдел». Резюме я переписала за ночь: восьмилетнюю дыру заклеила словами «частная практика». Частная практика заключалась в том, что я перебрала комод свекрови и отциклевала паркет на даче в Ратманихе. Комод, кстати, получился отличный.

В Балахне я пересела на маршрутку, которая довезла меня до поворота с надписью «Кашино 7». Дальше маршрутка не шла. Дальше шёл дождь.

Я простояла на обочине двадцать минут, пока не остановилась «Нива» с прицепом, полным мешков с картошкой. За рулём сидел дед в камуфляже.

— В Кашино? — Он оглядел меня. — К барскому дому, что ли? Фотографировать?

— Работать.

— А-а, — сказал дед с таким сочувствием, будто я призналась, что еду на каторгу. — Садись. Только дверь сильно не хлопай, она отваливается.

Дорога была асфальтом лет двадцать назад, а теперь стала его воспоминанием. Дед рассказывал, что в Кашине двенадцать жилых домов, что «приезжал тут один, здоровый, дом себе срубил на краю парка, хочет, говорят, всё купить». Что «барыня там с немцем сбежала, при царе ещё, Нюрка расскажет, если пирога не пожалеешь».

— А второй тоже приезжал, — добавил он. — На чёрном таком, как катафалк. С девками в касках и с планшетами. Ходили, мерили. Этот — не наш. Этот снесёт.

Я смотрела на дождь и не спрашивала, как звали того, на чёрном. Чёрный GLS я узнала бы и по описанию «как катафалк».

* * *

У ворот усадьбы стоял тёмно-зелёный Land Cruiser, большой и квадратный, как несгораемый шкаф. Рядом стоял мужчина такого же телосложения.

Дед высадил меня у самых ворот, сказал «ну, с богом» и укатил, разбрызгав лужу мне на джинсы. Я посмотрела на джинсы. Потом на мужчину.

Он был очень высокий — я со своими ста шестьюдесятью двумя упиралась взглядом куда-то в молнию его куртки, — широкий, в тёмной непромокаемой парке без капюшона. Дождь стекал по его волосам, тёмным, с ранней сединой на висках, и он это, кажется, не замечал. Нос с горбинкой — ломаный, я такие вижу сразу, как трещину на филёнке. Щетина. Серые глаза. Он смотрел на меня так, как оценщик смотрит на буфет с барахолки: есть ли жучок и стоит ли везти.

— Алина Сергеевна, — сказал он. Не спросил.

— Марк Андреевич, — сказала я. Тоже не спросила.

— Вы опоздали на сорок минут.

— Ваш автобус опоздал.

— У меня нет автобуса.

— Тогда у вас нет претензий.

Он чуть сузил глаза. Мне показалось, что где-то в глубине этого шкафа щёлкнул замок — не открылся, нет, просто щёлкнул, проверяя, работает ли.

— Я мог бы вас встретить, — сказал он. — Вы не написали, что едете на автобусе.

— Вы не спрашивали.

— Вы всегда так разговариваете?

— Только когда у меня мокрые ноги.

Он посмотрел на мои кроссовки — белые, купленные когда-то для фитнеса, теперь светло-коричневые. Ничего не сказал. Развернулся и пошёл по аллее. Я пошла следом, потому что за этим я и приехала.

Липовая аллея была старая, липы стояли через одну, как зубы у старика. Справа угадывался пруд, затянутый ряской, слева — остов главного дома. Каменный, тридцатых годов позапрошлого века, без крыши, с пустыми окнами, сквозь которые росли берёзы.

— Главный дом — не сейчас, — сказал Марк Андреевич, не оборачиваясь. — Там нечего обследовать, кроме кирпича. Флигель.

И я его увидела.

Он стоял чуть в стороне, ближе к обрыву, двухэтажный, деревянный, с мезонином, потемневший от дождя до цвета крепкого чая. Крыша просела с одного угла, водосток висел, как сломанная рука, крыльцо было подпёрто свежим брусом — кто-то недавно спасал. Но окна. Господи, окна.

Наличники были резные, глухой и пропильной резьбы вперемешку, с кокошниками, с подзорами, с розетками в верхних углах, и на каждой розетке — свой цветок. Не одинаковый. Мастер не повторялся. Я подошла к ближнему окну, забыв про хозяина, про дождь, про кроссовки, сняла перчатку и положила ладонь на доску.

Сосна. Нет — лиственница. Тяжёлая, смолистая, такую не берёт ни жук, ни гниль, ни время, её берёт только огонь и человек. Краска на доске была в четыре слоя, я видела это по сколу у нижнего угла: серая, под ней зелёная, под ней охра, а под охрой — белила. Первый слой. Отец говорил: под тремя слоями краски всегда есть первый. Здесь было три слоя чужих решений и один — того, кто это сделал.

— Это не пятидесятые, — сказала я вслух.

— Что?

Я обернулась. Он стоял в двух шагах, держал над собой зонт, которого секунду назад не было, и — я не сразу поняла — держал его так, что зонт накрывал больше меня, чем его.

— Кто-то говорит, что это новодел пятидесятых, — сказала я. — Колхоз перестраивал, всё такое. Я угадала?

— Угадали.

— Это не пятидесятые. В пятидесятых так не резали. В пятидесятых резали по трафарету, а тут каждая розетка своя. Белила под охрой — свинцовые, видите, как пожелтели? Их в колхозе не было. И профиль у подоконной доски… — Я замолчала. — Извините. Меня иногда несёт.

— Пусть несёт, — сказал он. — Я за это плачу.

Внутри пахло сыростью, мышами и старым деревом — а старое дерево пахнет как ничто другое на свете, как хлеб, который пекли сто лет назад. Я шла по комнатам с фонариком, простукивала стены, тыкала влагомером, и Марк Андреевич ходил за мной молча, на расстоянии, как охранник в музее.

Потом начал спрашивать.

— Сколько лет вы не работали?

— Восемь.

— Почему?

— Была занята.

— Чем?

— Это относится к флигелю?

— Это относится к тому, сможете ли вы его вытянуть.

Я выпрямилась. Влагомер пискнул: двадцать два процента.

— Вы всегда так смотрите, — спросила я, — будто прикидываете, сколько я стою?

— Я прикидываю, сколько стоит то, что вы скажете дальше.

Это было так нахально, что я рассмеялась. Не хотела — вырвалось. Он моргнул, как будто смех был звуком, которого в этом доме не предусматривали.

— Ладно, — сказала я. — Дальше я скажу вот что. Нижние венцы с северной стороны надо менять, там гниль, я пальцем до середины продавливаю. Крышу — срочно, до снега, хотя бы временную, иначе к весне потеряете мезонин. Печи две, изразцовые, обе живые, одну я бы разобрала и перебрала, вторую пока не трогать. Электрику — снять всю, она тут древнее меня и опаснее вас. И мне нужно на чердак.

— Зачем?

— Затем, что на чердаке люди пишут то, что не пишут внизу.

На чердак вела лестница, которой я не доверила бы и кошку. Он полез первым, проверяя ступени, потом подал мне руку. Ладонь у него была сухая и горячая, несмотря на дождь, и он отпустил мою, как только я встала на доски, — сразу, резко, как отдёргивают руку от плиты.

Под крышей было темно и пыльно. Я светила фонарём вдоль стропил, вдоль балок перекрытия, ползла на коленях, собирая паутину волосами. Он светил своим фонарём туда же, куда я, — я это заметила и запомнила.

На четвёртой балке от фронтона, на боковой грани, почти у самой стены, под слоем копоти было что-то вырезано. Я поплевала на перчатку и потёрла.

Латинская «C». Точка. Латинская «L». И ниже, неглубоко, ножом, по-немецки аккуратно: 1842.

Я села на пятки. Сердце колотилось так, будто это меня нашли, а не я.

— Карл Ланге, — сказала я. — Он подписал. Архитекторы почти никогда не подписывают балки, это плотники делают, а он подписал. Вы понимаете, что это?

— Понимаю, — сказал Марк Андреевич очень тихо. — Это значит, что дом настоящий.

В луче его фонаря кружилась пыль. Секунду мы оба молчали, и это было хорошее молчание — первое за весь день. Как будто тишина вошла и села между нами.

Потом он спросил:

— Почему вы ушли из «Старого города»?

И тишина встала и вышла.

* * *

Я рассказала сама. На крыльце, под навесом, глядя, как дождь пузырит лужи на аллее. В этой области всё равно все всё узнают.

— Вы должны знать, — сказала я. — Моя фамилия по мужу Воронцова. Олег Воронцов, «ВолгаСтройИнвест». Мы разводимся. Насколько я поняла из рассказов местных, он тоже интересуется этой усадьбой. Так что если вы ищете тихого реставратора без скандалов — это не я.

Я ждала чего угодно. Удивления. Неловкости. Вежливого «я вам перезвоню». Или того, что делали со мной знакомые последние десять дней: сочувственного лица, под которым шевелится любопытство.

Он сказал:

— Я в курсе.

Сказал ровно, без интонации, глядя не на меня, а на пруд. И стал ещё холоднее — я почувствовала это почти физически, как сквозняк из-под двери. Плечи под паркой как будто стали шире, челюсть твёрже.

— В курсе? — переспросила я. — Откуда?

— Это область, Алина Сергеевна. Тут все в курсе. Ваш муж хочет снести этот флигель и поставить на его месте коттеджи. Я хочу его сохранить. Мне нужен человек, который докажет, что это Ланге, и будет вести работы. Вы — лучшая в области по деревянному. Остальное меня не касается.

— Остальное касается меня, — сказала я.

Он наконец посмотрел на меня.

— Сколько вы хотите?

И вот тут во мне что-то захлопнулось. Не из-за слов даже. Из-за того, как он это сказал: будто вопрос решён, будто осталось вписать цифру и поставить подпись. Я знала эту интонацию. Я восемь лет жила с этой интонацией. «Сколько ты хочешь, Аля? Ну купи. Ну возьми. Только не начинай».

— Нисколько, — сказала я.

— Не понял.

— Марк Андреевич, я десять дней назад ушла от мужчины, который считает, что купил меня. С потрохами, с фамилией, с восемью годами жизни. У него, кстати, и бумага есть, что купил, — я по глупости подписала. И вот я стою на вашем крыльце, мокрая до коленей, и вы смотрите на меня тем же взглядом и спрашиваете, сколько я стою. — Я застегнула рюкзак. — Второго такого мне не надо. Дом прекрасный. Берегите его. Найдите кого-нибудь, кто будет его любить, а не только мерить.

— Вы отказываетесь из-за того, как я спросил?

— Я отказываюсь из-за того, как вы смотрите.

Он помолчал. Дождь шёл стеной.

— Я отвезу вас до города.

— Нет.

— Здесь нет транспорта до вечера.

— Значит, пройдусь до трассы. Мне полезно. Я восемь лет ездила только на заднем сиденье.

— Алина Сергеевна…

— До свидания, Марк Андреевич.

Я спустилась с крыльца. Он не пошёл за мной — я бы не простила, если бы пошёл. Но зонт остался у меня в руке, и я поняла это только у поворота аллеи: он вложил мне его, пока я застёгивала рюкзак, а я не заметила. Возвращать было глупо. Выбрасывать — ещё глупее. Я пошла дальше под его зонтом, злясь на себя, на него, на дождь и на то, что зонт оказался хороший, большой и не пропускал ни капли.

Дорога к трассе шла мимо края парка. Там, за старыми липами, стоял дом — новый, деревянный, из толстого оцилиндрованного бревна, с большими окнами и широким крыльцом. Простой и крепкий, без единой завитушки. Его дом, поняла я. Тот, которого дед назвал «здоровым».

В окне второго этажа горела лампа.

У стекла стояла девочка. Лет восьми-девяти, тёмная, кудрявая, в огромном свитере, рукава которого свисали ниже пальцев. Она смотрела на меня — не с любопытством, как смотрят дети на чужих, а серьёзно и пристально, будто запоминала, чтобы потом нарисовать.

Я остановилась. Девочка не отошла.

Потом она медленно подняла руку, подышала на стекло и что-то нарисовала пальцем в запотевшем круге. Издалека я не разглядела. То ли домик, то ли вопросительный знак.

Я подняла руку в ответ — глупо, мокро, под чужим зонтом.

Девочка не помахала. Она просто стояла и смотрела, пока я не скрылась за поворотом. Я знаю, потому что оглянулась дважды.

На трассе меня подобрала фура с арбузами из Астрахани. Всю дорогу до Балахны я думала про букву «С» на балке, про четыре слоя краски, про лиственницу, которую не берёт время, и про девочку в окне.

И почему-то совсем не думала про хозяина.

Почти.

Глава 6. Городец

Двадцать четвёртого октября у меня было одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей.

Я знаю точно, потому что считала каждый вечер, как бабушка считала петли на спицах. Двадцать три тысячи четыреста — столько было на моей личной карте, которую Олег не заблокировал по одной причине: он про неё забыл. Это была карта, на которую мне когда-то переводили за лекции в ННГАСУ, и последние восемь лет на ней жили проценты и одна кофейная подписка.

Минус автобусы. Минус лекарства. Минус новые резиновые сапоги, потому что белые кроссовки после Кашина можно было только похоронить. Минус продукты, которые я упрямо покупала в Катин холодильник, хотя Катя орала, что я гостья. Минус пятьсот рублей коту Адвокату на корм с лососем, потому что Адвокат ел только с лососем.

— Ты не гостья, — сказала Катя, когда я в очередной раз выложила на стол творог и бананы. — Ты клиент. Клиент, который мне не платит. Самый любимый вид клиента.

— Я заплачу.

— Чем? Стамесками?

— Могу перебрать тебе табуретки.

Табуретки у Кати были из «Икеи» и шатались, как пьяные.

— Договорились, — сказала она. — Это даже выгоднее, чем деньги.

Про Кашино я ей рассказала в тот же вечер, во всех подробностях, включая подпись на балке, девочку в окне и зонт. Зонт стоял в Катиной прихожей, большой, чёрный, с деревянной ручкой, и раздражал меня каждый раз, когда я проходила мимо.

— Верни его, — сказала Катя.

— Как? Почтой?

— Лично. И заодно скажи, что передумала.

— Я не передумала.

— Аля. — Катя закурила у открытой форточки, выдыхая дым в октябрьскую ночь над Ильинкой. — У тебя одиннадцать тысяч. Мастерские тебя не берут, потому что боятся Воронцова. Мужик предлагает работу по профессии, жильё и, судя по всему, нормальные деньги. А ты ему отказала, потому что тебе не понравилось, как он смотрит.

— Он смотрел, как будто покупает.

— Он работодатель. Они все так смотрят. Ты просто отвыкла, что тебя оценивают за работу, а не за то, как ты стоишь рядом с мужем на фотографиях.

Я не нашла, что ответить. Катя всегда так делала — била в одно место, без разгона, как хороший плотник гвоздь: тюк — и по шляпку.

* * *

Двадцать шестого пришёл конверт.

Не мне — Кате, как моему представителю. Плотный, кремовый, с логотипом юридической фирмы «Шубин и партнёры» — Катя вскрыла его ножом для масла, прочитала стоя, хмыкнула и протянула мне.

«Мировое соглашение». Пять страниц. На третьей строчки поплыли — хотелось подписать, лишь бы кончилось. Так было в 2017-м с брачным договором. Олег тогда положил его на стол между тортом и шампанским и сказал: «Формальность, зайка, для банков».

Суть была простая. Олег Викторович Воронцов в порядке доброй воли выплачивает мне триста тысяч рублей. Я отказываюсь от любых имущественных претензий. И подписываю соглашение о неразглашении «сведений, ставших известными в период брака, касающихся

деятельности ООО "ВолгаСтройИнвест" и аффилированных лиц». Штраф за нарушение — десять миллионов.

— Триста тысяч, — сказала я. — За восемь лет. Это тридцать семь с половиной тысяч в год. Три тысячи сто двадцать пять в месяц.

— Ты посчитала в уме?

— Я восемь лет вела его домашнюю бухгалтерию. Я считаю быстрее, чем он врёт.

— А что за «сведения о деятельности»? — Катя прищурилась. — Ты что-то знаешь?

Я подумала. Я знала много чего — так, как знает мебель в кабинете. При мне говорили, потому что я была фон. Видела папки, которые оставляли на кухонном столе. Однажды, наливая Олегу чай, увидела в ноутбуке таблицу с двумя колонками цифр по одному и тому же объекту, и в одной цифры были больше в полтора раза. Олег закрыл крышку и сказал: «Не забивай голову».

— Может быть, — сказала я. — Я пока не знаю, что именно знаю.

— Вот поэтому, — сказала Катя, — мы это не подписываем.

И порвала. Медленно, со вкусом, на четыре части, потом на восемь.

— Катя! Это же… это триста тысяч.

— Это не триста тысяч. Это цена твоего молчания, которое стоит намного больше. Если он предлагает триста за молчание, значит, боится на десять миллионов. А мы, дорогая, будем оспаривать брачный договор. Подписан без независимого юриста, под давлением, за два часа до свадьбы. — Она смахнула обрывки в ведро. — Не подписываем.

Ночью я лежала на Катином диване, смотрела в потолок с жёлтым пятном от соседей сверху и думала, что одиннадцать тысяч — это примерно три недели. Если не болеть, не покупать сапоги и не кормить Адвоката лососем. Потом надо будет что-то решать. А решать я разучилась. Восемь лет за меня решали, что я буду есть, во что одеваться и с кем дружить.

Под утро я написала отцу: «Пап, можно приеду?»

Он ответил через четыре минуты, хотя было без пятнадцати шесть:

«Приезжай».

Одно слово. Весь отец в одном слове.

* * *

Городец встретил меня запахом печного дыма и мокрых листьев. Автобус от Нижнего шёл полтора часа, через ГЭС, через Заволжье, мимо серой, тяжёлой осенней Волги, и когда за окном потянулись дома с наличниками, я разглядывала их, как знакомые лица на вокзале: этот жив, а этого снесли, на его месте сайдинг.

Отец жил на улице Набережной, в доме, который построил его дед. Дом стоял боком к Волге, синий, с белыми наличниками, и на каждом наличнике сидели вырезанные отцом птицы: сирины, совы, утки, а на одном — кот, совершенно не по канону, потому что мама однажды сказала, что хочет кота, а настоящего завести не могла — аллергия. Так у мамы появился кот на окне. Ему было двадцать лет, и он всё ещё щурился на реку.

Отец открыл калитку раньше, чем я до неё дошла. Он всегда видел из окна мастерской, кто идёт.

— Здравствуй, пап.

— Здравствуй.

Шестьдесят три года, борода с проседью, руки как корни. В рабочем фартуке, с карандашом за ухом — тем же движением, каким я закалываю волосы. Он посмотрел на мой чемодан, на ящик с инструментами в моих руках, на моё лицо. Ничего не спросил. Взял ящик — не чемодан, ящик, потому что знал, что для меня важнее, — и пошёл в дом.

Самое правильное, что мне сказали за две недели.

Мастерская была пристроена к дому сбоку, и пахла она так, что у меня подогнулись колени. Стружка, сосновая и липовая. Олифа. Столярный клей, который отец до сих пор варил

сам. Металл стамесок. Печка-буржуйка в углу, на ней — чайник с отбитой эмалью. Запах всех моих летних каникул у верстака.

Отец резал наличник. Заказной, для какого-то нижегородского дачника. Я встала рядом и смотрела, как он ведёт резец, и мне было семь лет, и мама звала нас обедать.

— Мама бы сказала, что я дура, — сказала я наконец.

— Мама бы так не сказала.

— Сказала бы. Она всегда говорила, что я слишком долго терплю.

Отец положил резец. Снял очки, протёр их краем фартука — долго, тщательно, хотя они были чистые. Так он делал, когда собирался сказать трудное. В последний раз — в 2020-м, в больнице.

— Я его видел, — сказал отец.

— Кого?

— Олега твоего. Насквозь видел. С первого раза, как он сюда приехал на своей машине и сказал про мои наличники: «Мило». Мило, Аля. Сорок лет я режу, а он — «мило». И на свадьбе видел. И когда ты перестала ко мне ездить, потому что у него то приём, то мать, то Сочи. Видел, что ты гаснешь. Как лампа, когда керосин кончается, — ещё светит, а уже коптит.

Я молчала. В буржуйке щёлкнуло полено.

— И молчал, — сказал отец. — Думал: взрослая, сама выбрала. Думал: кто я такой, старый столяр, чтобы лезть к девелоперу. Мама говорила: «Серёжа, скажи ей». А я не сказал. А потом мамы не стало, и стало вроде как поздно.

— Пап…

— Ты не перебивай. Я долго собирался.

Он опять надел очки. Взял со стола кусок старой доски — я знала эту доску, отец держал её на полке лет тридцать, это был обломок наличника с дома, который он реставрировал в молодости. На доске было пять слоёв краски, и на сколе они лежали полосками, как годовые кольца: голубой, белый, коричневый, зелёный и в самом низу — тёмно-красный, почти вишнёвый.

— Помнишь?

— Под тремя слоями краски всегда есть первый, — сказала я.

— Вот. Ты эти восемь лет на себя слои клала. Сама и клала, и он клал. Жена Воронцова. Невестка завуча. Хозяйка пентхауса. — Отец провёл ногтем по сколу, по вишнёвому. — А первый-то слой у тебя — вот он. Ты свой не сдирай, доча. Чужие — сдирай. А свой береги. Его никакой Олег не закрасит, если ты сама не дашь.

Я заплакала. Не красиво, как в кино, а некрасиво: с соплями, со всхлипами, уткнувшись отцу в фартук, пахнущий олифой. Он стоял не двигаясь и гладил меня по голове тяжёлой ладонью, как гладят собаку или очень маленького ребёнка. Потом сказал:

— Чайник.

И пошёл снимать чайник, потому что тот действительно закипел, а ещё потому что дальше слов у отца не было, и он это знал.

* * *

Я прожила у него три дня. Спала в своей бывшей комнате под маминым лоскутным одеялом. Ела отцовские солёные грузди, которые он ставил на стол, как орден. Помогала ему с наличником: он доверил мне розетку на кокошнике, и я резала её четыре часа, и руки сначала не слушались, а потом вспомнили, и это было как вспомнить язык, на котором говорила в детстве.

Вечером второго дня я разбирала мамины вещи в шкафу и вдруг поняла, что её шкатулки нет. Резной шкатулки из карельской берёзы, которую отец сделал маме на свадьбу и в которой мама хранила пуговицы, бабушкин крестик и мои молочные зубы. После похорон я забрала её себе. В пентхаус. На полку в гардеробной, рядом с коробками от Олеговых часов.

Я уходила с одним чемоданом и забыла самое главное. Взяла стамеску, а шкатулку оставила. Вечером написала Кате: «Можно как-то забрать вещь из квартиры?» Катя ответила: «Можно, через суд, через полгода. Или через окно. Окно не советую, пентхаус».

На третий день, двадцать девятого, я вышла с телефоном на крыльцо. Волга внизу была стального цвета, по ней шла последняя в сезоне баржа с щебнем.

Номер я нашла в письме — «по всем вопросам: М. А. Елагин», и дальше цифры. Набрала. Сбросила. Набрала опять. Подумала, что отец смотрит из мастерской в окно, и мне стало стыдно сбросить второй раз.

Он ответил после первого гудка.

— Елагин.

Голос был такой же, как тогда у ворот: сухой, ровный, как струганая доска.

— Это Алина Воронцова. Мы виделись двадцать третьего.

— Я помню.

Пауза. Он не помогал. Просто ждал.

— Я согласна, — сказала я. — Но у меня условия.

— Слушаю.

Я загнула палец, хотя он меня не видел.

— Первое. Я работаю одна. Бригаду, если понадобится, набираю сама, и решения по дому принимаю сама. Второе. Вы не стоите над душой. Не ходите за мной по комнатам, не светите фонарём туда, куда свечу я, не спрашиваете, сколько лет я не работала. Хотите знать, как идут дела, — раз в неделю отчёт. Письменный.

— Письменный, — повторил он без выражения. Мне показалось, что где-то на том конце он чуть не хмыкнул.

— Третье. — Я выдохнула. — Вы платите вперёд. За месяц. Не потому, что я вам не доверяю. А потому, что я восемь лет жила на чужие деньги и каждый раз должна была за них благодарить. Больше не хочу. Я хочу, чтобы это были мои деньги, за мою работу, и чтобы я их получила до того, как вы решите, что я их не стою.

Тишина. Баржа внизу дала короткий гудок.

— Всё? — спросил он.

— Всё.

— Договорились, Лебедева.

Я уже открыла рот, чтобы сказать «спасибо», и закрыла его.

— Откуда вы знаете мою девичью фамилию?

Пауза. Короткая, на полвдоха. Такая, какую не замечаешь, если не прислушиваешься. Я прислушивалась — тогда просто потому, что связь в Городце хрипела.

— Вы её написали в резюме, — сказал он.

— А, — сказала я. — Ну да.

— Переезд — первого ноября. Я пришлю за вами машину. Деньги будут на карте завтра. Реквизиты отправьте Брагину.

— Я могу сама доехать.

— Можете, — согласился он. — Но в этот раз машина придёт вовремя, а вы — нет, и мы опять начнём с ссоры. Давайте попробуем по-другому.

И отключился. Не попрощавшись. Я посмотрела на погасший экран и почему-то засмеялась — тихо, в рукав.

Отец вышел на крыльцо с двумя кружками чая. Протянул одну мне. Сел рядом на ступеньку, крякнув коленями.

— Ну? — спросил он. Это было самое длинное его «ну» за всю жизнь.

— Еду работать. В Кашино. Там флигель сорок второго года, пап. Карл Ланге. На балке подпись. Наличники — каждая розетка своя.

Отец кивнул. Отхлебнул чай. Помолчал, глядя на реку.

— А хозяин?

— Хмурый. Грубый. Разговаривает, как будто телеграммы отправляет.

— Пожарный, — сказал отец.

Я повернулась к нему.

— Откуда ты знаешь?

— Городец маленький, вся область маленькая. — Отец пожал плечами. — Елагин. Бывший спасатель, детей вытаскивал на Автозаводе, по телевизору показывали. Отели у него. Один у нас тут, на Городецком берегу. Говорят, строгий, но платит честно.

— Он сказал «Лебедева», — вдруг сказала я. — Без «Алина Сергеевна». Как будто мы в школе и он учитель.

— Ну и хорошо, — сказал отец. — Лебедева — хорошая фамилия. Её хоть кто-то вспомнил.

Мы сидели на крыльце, пока не стемнело. Над Волгой зажглись огни Заволжья, кот на мамином наличнике щурился в темноту, а я думала, что в резюме написала «Алина Сергеевна Воронцова, реставратор», три раза перечитывала его перед отправкой, проверяла запятые и год окончания ННГАСУ.

Впрочем, тогда я подумала: значит, написала где-то ещё. Мало ли.

Тогда я ещё верила людям, которые отвечают сразу.

Глава 7. Флигель

Машина пришла первого ноября ровно в девять ноль-ноль. Я смотрела из Катиного окна, как серый «Патриот» паркуется у подъезда, и водитель — пожилой, усатый, в кепке — выходит и встаёт у двери, не сигналя. В девять ноль одну у меня зазвонил телефон.

— Николай Павлович, от Марка Андреевича. Я внизу. Не торопитесь.

«Не торопитесь» в его исполнении прозвучало как «я засёк время».

Катя провожала меня в халате, с сигаретой и котом на руках.

— Звони каждый вечер, — сказала Катя. — Если он хоть пальцем…

— Он даже руку подать боится. Отдёргивает, как от утюга.

— Вот это мне и не нравится. Такие потом не отпускают.

— Ты это где вычитала?

— В двух своих разводах. — Она чмокнула меня в щёку. — Езжай. И верни ему наконец зонт.

Зонт я забыла. Вспомнила на мосту через Оку и решила, что это знак.

* * *

Флигель я не узнала.

То есть узнала, конечно: те же наличники, та же просевшая крыша, тот же лиственничный цвет крепкого чая. Но крыльцо было починено, водосток повешен на место, а на просевший угол кровли натянули брезент и прижали досками — временно, до весны, как я и говорила. Из трубы шёл ровный белый дым хорошо растопленной печи.

— Печника из Семёнова привозили, — сказал Николай Павлович, вытаскивая мой чемодан. — Два дня колдовал. Сказал, печь хорошая, старая, только забита была. Галкиными гнёздами.

Внутри было тепло. Густым печным теплом, которое не даст ни один радиатор. В нижней комнате — той, что с изразцовой печью в бело-синих цветах, — стояла кровать. Не новая, хорошая старая: металлическая, с шишечками, покрашенная заново. На кровати — матрас, ещё в плёнке по углам, и бельё. Новое. Белое, хлопковое, пахнущее морозом, будто его сушили на улице. Плед в клетку. У окна — стол, крепкий, дубовый, с тяжёлыми ящиками. Табурет. Шкаф. Газовая плитка на одну конфорку. Рядом с плиткой — турка.

Турка меня добила.

Медная, с длинной деревянной ручкой. А рядом — пачка кофе в зёрнах, ручная мельница и маленькая баночка с зелёными коробочками кардамона.

Я стояла посреди комнаты в куртке и смотрела на кардамон.

Я не говорила ему про кардамон. На крыльце я говорила про гниль в венцах. Значит, кто-то сказал. Кто? Брагин, который видел меня ровно ноль раз?

— Это всё он? — спросила я Николая Павловича.

— Марк Андреевич привозил, — кивнул тот. — Сам таскал. Кровать сам красил, в своём гараже. Бельё, говорит, купи хорошее, не синтетику. Я купил. — Он помолчал. — Кофе он сам выбирал.

— А кардамон?

Николай Павлович только пожал плечами.

Когда машина уехала, я села на кровать, прямо в куртке, и разозлилась. По-настоящему, до красных щёк. Я же сказала ему: я работаю одна. Я сказала: не стойте над душой. А он, получается, не стоял над душой — он её обставил. Без спроса. Выбрал мне кровать, бельё и кофе, как обставляют номер в отеле.

Восемь лет мне всё выбирали. Платья, ресторан, марку минералки.

Я злилась минут десять. Потом сварила в медной турке кофе с кардамоном, выпила его, сидя на подоконнике, глядя на липовую аллею в тумане, — и разозлилась ещё сильнее. Потому что это был лучший кофе за последние полгода. И потому что мне было приятно.

Деньги, кстати, пришли тридцатого. Ровно за месяц, вперёд, как я просила. Сумма была больше, чем я бы попросила сама, и в назначении платежа стояло сухое: «Аванс. Обследование объекта. Ноябрь».

Я написала Брагину: «Сумма неверная, слишком большая». Брагин ответил через минуту: «Марк Андреевич сказал, что вы так и напишете. Сказал ответить: это рыночная ставка, а вы восемь лет вне рынка». И смайлик.

* * *

Баба Нюра пришла в тот же вечер, без стука, в валенках с калошами, в пуховом платке и с котом.

Кот был огромный, рыжий, с порванным ухом и выражением морды, как у генерала в отставке. Он вошёл первым, обошёл комнату, понюхал мой ящик с инструментами, чихнул и улёгся у печи, заняв лучшее место. Нюра вошла следом с корзинкой, накрытой полотенцем.

— Барин, — представила она кота. — А я Анна Фёдоровна. Нюра. Сторожу тут сорок лет, с восемьдесят пятого. Ты, что ли, доча, будешь дом лечить?

— Буду, — сказала я. И вдруг почувствовала, что у меня щиплет в носу от этого «доча».

— Ну и правильно. Он, дом-то, давно ждёт. — Нюра сняла полотенце. Под ним лежали пироги, румяные, с капустой, ещё горячие. — Ешь. Хозяин сказал, ты худая. Я гляжу — и правда худая. Ешь, говорю.

Хозяин сказал. Хозяину, видимо, было что сказать про меня всем, кроме меня.

Мы пили чай из моей новой турки — Нюра сказала, что кофе «баловство», но выпила две чашки, — и она рассказывала. Про усадьбу, про колхоз, который в пятидесятые держал во флигеле контору, а в главном доме — зернохранилище, пока крыша не рухнула. Про мародёров в девяностые, которых она гоняла ружьём без патронов. Про «хозяина» — так она называла Марка, и в голосе было что-то от того, как в деревне говорят о погоде, на которую нельзя повлиять, но можно уважать.

— А легенда, — спросила я. — Мне один дед сказал, что вы знаете легенду.

Нюра оживилась. Поправила платок. Барин у печи приоткрыл один глаз.

— А как же. Барыня здешняя, Лизавета, молодая была, а муж у неё — старик, полковник отставной, злой, как пёс цепной. Бил, говорят. А сюда, во флигель этот, приезжал немец. Строитель. Флигель-то он и строил, ещё при старом барине, а потом, как пожар был, его опять позвали чинить. Вот он чинил-чинил, да и починил. — Нюра хихикнула. — Сбежала она с ним. С немцем. Ночью, в одной шубе. Полковник потом весь флигель перерыл, искал, куда она письма прятала. Не нашёл.

— Письма?

— Ну а как же. Любовь-то без писем не бывает, доча. — Нюра посмотрела на меня поверх чашки хитрыми, совсем молодыми глазами. — У тебя-то есть кому писать?

— Нет, — сказала я.

— Это пока, — сказала Нюра и забрала у Барина с колен кусок пирога, который он успел стащить.

* * *

Неделю я работала так, как не работала восемь лет. Как будто кто-то снял с меня тяжёлое пальто, которое я носила, не замечая.

Я начала с зондажей: снимала краску маленькими окнами, квадратиками пять на пять, по всему фасаду и внутри, и записывала слои в тетрадь. На наличниках — четыре, везде одинаково: серая, зелёная, охра, свинцовые белила. На стенах в нижних комнатах — шесть: под советской масляной краской обнаружились обои, под обоями — газеты 1931 года («Догоним

и перегоним!»), под газетами — ещё одни обои, с мелким цветком, ручной набивки. А под ними — доска. Чистая, тёсаная, с тем самым серым налётом, который бывает только у дерева, которое дышало сто восемьдесят лет.

Я лазила по балкам, простукивала, брала пробы, светила фонарём в каждую щель. В подполе нашла медный пятак 1841 года — плотники клали на счастье под первый венец.

С домом я, кстати, разговаривала. Это профессиональное, все реставраторы разговаривают. «Ну, потерпи». «Ну, кто ж тебя так». «Ох, милый, а это тебе зачем прибили». Флигель отвечал скрипом, и мне казалось, что он отвечает по делу.

Марк Андреевич не приходил. Я видела его только издалека: тёмно-зелёный Land Cruiser выезжал по утрам из-за лип и возвращался вечером, и окна его дома горели допоздна. Один раз он прошёл по аллее с телефоном у уха и даже не повернул голову к флигелю. Это было именно то, о чём я просила.

Меня это почему-то задело.

В пятницу я отправила ему отчёт. Письменный, как договаривались. Четыре страницы: слои, влажность, состояние венцов, список срочных работ, фотографии подписи на балке. Он ответил через сорок минут одним словом:

«Принято».

Я перечитала это слово раз пять и так и не поняла, нравится ли мне такой работодатель.

* * *

На пятый день, в среду, ко мне пробралась Соня.

Я её не услышала. Я была на стремянке, расчищала карниз в нижней комнате, бубнила флигелю «ну потерпи, потерпи, хороший» — и вдруг почувствовала взгляд. Обернулась.

На табурете у двери сидела та самая девочка из окна. Тёмные кудри, собранные в два неровных хвоста. Куртка, расстёгнутая, на шее шарф, который явно завязывал мужчина: узлом, как морской. Ранец за спиной. Альбом на коленях. Она рисовала. Меня.

— Привет, — сказала я.

— Не шевелитесь, — сказала девочка. — Я ещё не закончила руку.

Я замерла на стремянке со скребком в поднятой руке. Через три минуты рука затекла.

— Можно опустить?

— Вообще-то нет. — Девочка нахмурилась над альбомом. — Вообще-то руки — это самое трудное. Их все рисуют как лопаты.

— Мне кажется, у меня рука и так уже лопата.

— Нет. У вас рука нормальная. Только шрам. — Она подняла на меня глаза, серьёзные, серые, отцовские. — Откуда шрам?

Никто не спрашивал меня про шрам восемь лет. Олег делал вид, что его нет. Свекровь — что он неприличный.

— От стамески, — сказала я. — Мне было девятнадцать. Я резала розетку и торопилась.

— А стамеска где?

Я слезла со стремянки. Достала из ящика кожаный чехол, вынула мамину стамеску — полукруглую, с рукоятью из груши, тёмной, гладкой, отполированной двумя парами рук до блеска. На рукояти выжжено «Н.Л.».

— Вот она.

Девочка отложила альбом. Посмотрела на стамеску. Потом на меня.

— А можно подержать?

Я её почти не давала никому. Даже Олегу — особенно Олегу. Он однажды открыл ею коробку с вином, и я впервые за брак на него закричала.

— Можно, — сказала я. — Только за ручку. И вот так, лезвием от себя. Всегда — от себя.

Она взяла. Держала двумя руками, как держат птенца. Провела пальцем по буквам.

— Что такое «Н.Л.»?

— Надежда Лебедева. Это моя мама. Это её стамеска.

— А где ваша мама?

— Умерла. Пять лет назад.

Девочка подумала. Отдала мне стамеску — аккуратно, ручкой вперёд, как я показала.

— А моя мама уехала, — сказала она. — Это не одно и то же. Но похоже. Вообще-то.

И снова взяла альбом, будто ничего особенного не сказала.

— Меня Соня зовут. Елагина. Мне девять, я в третьем «Б». А вы Алина. Папа сказал, что вы тут дом лечите и вас нельзя трогать.

— Ты меня и не трогаешь.

— Вот именно. — Соня кивнула с достоинством. — Я только смотрю. Это вообще-то разные вещи.

Она прорисовала меня ещё полчаса. Спросила, почему я разговариваю со стенами («Ну они же не отвечают» — «Отвечают. Ты послушай» — Соня послушала, и флигель скрипнул, и она подпрыгнула и засмеялась). Рассказала, что любит лошадей, что папа готовит сырники по воскресеньям, но в это воскресенье не готовил, потому что «у него опять какие-то юристы или что-то там».

Я не стала спрашивать, какие юристы.

В пять хлопнула дверь. Марк Андреевич вошёл без стука — в куртке нараспашку, с лицом, на котором было написано, что он оббежал всю усадьбу.

— Соня.

Одно слово. Но в этом слове было столько всего — страх, злость, облегчение, — что у меня внутри что-то сжалось.

— Пап, я рисую.

— Ты должна была быть дома в три. Николай Павлович тебя высадил у ворот в три. Я тебе звонил шесть раз.

— У меня телефон в ранце.

— Собирайся.

Он не посмотрел на меня. Ни разу, пока Соня застёгивала куртку, — смотрел только на дочь, как смотрят на то, что едва не потерял. Потом коротко, сквозь зубы, бросил в мою сторону:

— Извините. Больше не повторится.

— Она мне не мешала, — сказала я.

— Повторится, — одновременно сказала Соня.

Он уже открыл рот — ответить ей, резко, я видела, — и вдруг закрыл. Потому что Соня улыбалась. Широко, во весь рот, с дыркой на месте нижнего бокового зуба. Улыбалась и прижимала к груди альбом.

Марк Андреевич посмотрел на эту улыбку. Потом, впервые за весь визит, — на меня. Быстро, коротко. Как будто проверял, не я ли её туда положила.

— Пойдём, — сказал он дочери. Уже мягче.

У двери Соня обернулась:

— Я завтра приду. Мне руку дорисовать.

— Соня…

— Пап, вообще-то она сама сказала, что я не мешаю.

Они ушли. Я стояла посреди комнаты со скребком, и мне было смешно, и почему-то хотелось плакать, и я не понимала, от чего больше.

Соня приходила ещё три раза. Марк Андреевич больше не врывался — просто в пять часов я слышала шаги на крыльце и короткий стук. Он теперь стучал.

* * *

Восьмого ноября я легла спать в одиннадцать и проснулась в семь.

Я не сразу поняла, что случилось. Лежала под клетчатым пледом, смотрела, как светлеет квадрат окна, слушала, как в печи остывающе потрескивают угли, и пыталась понять, почему так тихо. Внутри тихо.

А потом поняла: я не пила таблетку.

Восемь лет — сначала мелатонин, потом валериана, потом то, что выписал мне знакомый врач Тамары Ильиничны, «чтобы ты не нервничала, Алина, на тебя страшно смотреть». Восемь лет я засыпала химическим сном, тяжёлым и без снов, и просыпалась, будто меня вытащили из-под воды. А блистер лежал в косметичке, косметичка — в чемодане, чемодан — под кроватью. Я про него забыла.

Я лежала и слушала флигель. Он поскрипывал, остывая к утру, — тихо, как старый человек ворочается во сне. Где-то за липами хлопнула дверца машины, и заурчал мотор Land Cruiser, и мне не надо было смотреть в окно, чтобы знать, кто это.

Я потянулась до хруста. Достала блистер из косметички. Подержала на ладони — на левой, со шрамом.

И выбросила его в печь.

Фольга зашипела и свернулась. Это была первая вещь, которую я выбросила за восемь лет сама. Не потому, что так сказали. А потому, что больше не нужно.

Потом я сварила кофе с кардамоном.

И на секунду, только на секунду, подумала о человеке, который его выбирал.

Глава 8. Марк. Иск

Леса она заказала сама. Привезли в субботу, из Семёнова, на «Газели». Двое парней собрали их вдоль южного фасада за три часа, она ходила следом и проверяла каждый хомут. Один парень сказал ей «девушка, не мешайте». Она что-то ответила. Я не слышал что. Видел только, как он покраснел и стал проверять хомуты сам.

В воскресенье я сделал Соне сырники. Соня съела четыре и ушла к Нюре смотреть котят — у Барина, как выяснилось, где-то в деревне есть семья. Я вышел на крыльцо с кофе.

Отсюда флигель видно сквозь липы. Не весь, кусок южной стены и угол лесов. На лесах была она.

В вязаной шапке. Серой, с помпоном, который прыгал, когда она наклонялась. В рабочей куртке на два размера больше. Наверное, отцовской. Стояла на втором ярусе, у окна мезонина, и что-то делала с наличником. Скребком. Медленно, по сантиметру.

И разговаривала.

Губы двигались. Иногда она останавливалась, наклоняла голову, как будто слушала ответ. Потом кивала и продолжала.

Я допил кофе. Пошёл в дом. Через десять минут обнаружил себя опять на крыльце. С пустой кружкой.

Это было глупо. Я платил ей за работу. Работа шла. Отчёт за неделю — четыре страницы, фотографии, таблица влажности по венцам. Толковый отчёт. Лучше, чем у подрядчиков, которым я плачу втрое больше. Я ответил «принято». Хотел написать больше. Сидел над телефоном минут пять. Не придумал что. Написал «принято».

Гоша, когда узнал, сказал: «Ты гений эпистолярного жанра».

Помпон на лесах прыгнул. Она выпрямилась, потянулась, прижала ладони к пояснице. Повернулась — и посмотрела прямо на мой дом.

Я ушёл с крыльца. Быстро. Как пацан, которого застукали у чужого забора.

Тридцать семь лет. Девять лет МЧС. Три отеля, сто сорок человек персонала. И я прячусь от реставратора за собственной дверью.

* * *

Лера прилетела десятого.

Написала из Шереметьева: «Я в Москве. Завтра в Нижнем. Хочу видеть Соню. Не через тебя, а нормально». Потом из «Ласточки»: «Кафе на Рождественской, где мы были на годовщину. В пять». Будто у нас была одна годовщина. Будто я помню, в каком кафе.

Я помнил.

Соню я забрал из школы сам. Она молчала всю дорогу. Смотрела в окно, на трассу, на мокрые поля. Рисовала на запотевшем стекле лошадь. Стирала. Рисовала снова.

— Ты можешь не ходить, — сказал я на въезде в город.

— Я знаю.

— Я серьёзно. Если не хочешь…

— Пап. — Она повернулась. — Вообще-то она моя мама.

И отвернулась обратно к стеклу.

Девять лет. Иногда мне кажется, что ей сорок.

Кафе было то же. Кирпичные стены, лампы на проводах, окна на Рождественскую. Лера сидела у окна. Увидела нас, встала.

Она похудела. Она всегда была тонкая, а стала прозрачная. Загар, светлые волосы, бежевое пальто, которое стоило, наверное, как мой первый «Логан». Красивая. Лера всегда была красивая. Это было первое, что я в ней увидел в двадцать пять лет, и, наверное, последнее, что я в ней понял.

— Сонечка.

Соня остановилась в метре от неё. Не подошла. Лера сделала шаг сама, присела, обняла. Соня стояла в объятиях прямо, как столбик, руки по швам. Потом, через секунду, одной рукой неловко похлопала мать по спине. Как взрослые хлопают на похоронах.

У меня что-то сжалось в горле. Не за себя.

На столе были подарки. Коробка с куклой — кукла в золотом платье и тиаре, «прямо из Дубая, Сонечка, таких здесь нет». Браслет, тонкий, золотой. Планшет в розовом чехле.

— Спасибо, — сказала Соня. Посмотрела на куклу. — Я вообще-то в куклы уже не играю.

— А во что играешь?

— Я рисую. И лошади.

— Лошади, — повторила Лера. Улыбнулась. Улыбка вышла растерянная. — Ну, мы купим лошадь. Хочешь? Настоящую. В Дубае есть конюшни, там такие арабские…

— Лера, — сказал я.

— Что? Я разговариваю с дочерью.

Я заказал себе чёрный кофе. Соне — какао. Лере ничего не надо было заказывать, перед ней стоял матча-латте, нетронутый. Я сел чуть в стороне. Договорились, что я буду рядом, но не за столом.

Они говорили. Точнее, говорила Лера. Про море, про небоскрёбы, про бассейн на крыше. Соня отвечала «угу» и «понятно». Пила какао. Лера спрашивала про школу — Соня говорила «нормально». Про друзей — «есть». Про то, что она делает после уроков.

И тут Соня ожила.

— Я хожу во флигель. К Алине.

— К кому?

— К Алине. Она дом лечит. Старый, там один немец строил, ещё при царе. У неё стамеска, которая её мамы, там буквы выжжены. Она мне давала подержать. Она со стенами разговаривает, а стены отвечают. Я её рисую. У меня уже четыре рисунка, только руки не получаются, руки — самое трудное.

Она выпалила всё одним духом. Щёки порозовели. Первый раз за час.

Лера медленно повернулась ко мне.

— Алина, — сказала она.

— Реставратор, — сказал я. — Работает на объекте.

— Живёт там?

— Во флигеле.

— Понятно. — Лера улыбнулась. Не Соне. Мне. Я знал эту улыбку. С этой улыбкой она когда-то сказала: «Марк, я уезжаю. Ты всё равно не заметишь». — Совсем понятно.

Через полчаса Соня ушла в туалет. Лера дождалась, пока закроется дверь, и достала из сумки папку.

— Чтобы ты не узнал от чужих людей, — сказала она. — Мой адвокат подаёт завтра. Определение места жительства ребёнка. Со мной.

Я не ответил. Я смотрел на папку. Синюю, пластиковую, с кнопкой.

— Ты работаешь сутками, — сказала Лера. Ровно, как по бумажке. Наверное, и правда по бумажке. — Три отеля. Ты дома ночуешь через раз. Ребёнка возит водитель, кормит сторожиха, а теперь ещё и какая-то случайная тётка с пилой. Ребёнка растят сторожиха и случайная тётка с пилой, Марк. Это я и скажу в суде.

— Ты уехала, — сказал я. — Четыре года назад. Ей было пять.

— Я знаю, сколько ей было.

— Ты звонила два раза в год.

— Я знаю, сколько я звонила! — Голос у неё сорвался. На секунду под загаром и бежевым пальто я увидел ту Леру, которая плакала в роддоме, потому что боялась уронить. — Я знаю,

Марк. Я была плохой матерью. Я хочу быть хорошей. Мне тридцать четыре. У меня ничего нет. Ни мужа, ни дома, ни… — Она замолчала. Выпрямилась. — У меня есть дочь. И я её заберу.

Соня вернулась. Мы досидели ещё двадцать минут. Лера сфотографировала себя с Соней на фоне окна — три раза, пока не получилось, как ей надо.

Кукла осталась на столе. Соня её забыла. Я вернулся, забрал. В машине положил на заднее сиденье.

Соня всю дорогу спала. Кукла в золотом платье лежала рядом с ней и смотрела в потолок.

* * *

Гоша прочитал иск в среду, у себя в офисе на Рождественской. Через три дома от того кафе. Носки у него были жёлтые, с ананасами.

Читал он долго. Поправлял очки. Хмыкал. Один раз сказал «ого» и один раз «вот стерва», но тут же: «Извини. Профессионально — грамотно составлено».

— Кто её адвокат?

— Не знаю пока. Не местный. Дорогой. — Гоша постучал по бумаге. — Вопрос, откуда у неё на дорогого. Ухажёр её арабский, насколько я слышал, её как раз и бросил. Без копейки.

— Узнай.

— Узнаю. — Гоша снял очки. — Теперь по делу. Предварительное — через месяц-полтора. По существу — к апрелю, не раньше. Опека придёт с проверкой. Психолог. Будут смотреть быт, режим, кто с ребёнком, когда ты дома. Будут опрашивать школу. И суд будет смотреть на одно: стабильность. Где ребёнку стабильнее.

— Со мной.

— Ты. — Гоша посмотрел на меня поверх очков. — Мужчина. Тридцать семь лет. Один. Бизнес по всей области. Ночуешь в Арзамасе три раза в месяц. Ребёнка возит Николай Палыч, кормит Нюра, которой семьдесят восемь. И, извини, бывший пожарный с травмой, который девять лет не может говорить про один январский вечер. Её адвокат это найдёт. Он это уже нашёл, вот, пункт четыре.

Я посмотрел на пункт четыре. «Психологическое состояние отца, связанное с профессиональной травмой, вызывает обоснованные опасения».

Я положил лист обратно.

— А у неё, — продолжил Гоша, — мать. Раскаявшаяся. Красивая. Возьмёт в суд фотографии, будет плакать. Скажет, что уехала от депрессии, что ты её не замечал, что теперь всё поняла. Судьи любят раскаявшихся матерей. Особенно судьи-женщины. А у нас в районном, Марк, судьи — женщины.

— Что ты предлагаешь?

Гоша откинулся в кресле. Положил ноги в ананасах на край стола.

— Стабильность. Семья, режим, женщина в доме. Не сторожиха. Не няня. Женщина, с которой ты живёшь. С которой ребёнок ладит. — Он сделал паузу. — Женись.

Я засмеялся. Коротко. Невесело.

— На ком? Ты сдурел.

— Я абсолютно серьёзен.

— На ком, Гоша? У меня нет никого. Ты знаешь.

Гоша не ответил. Он смотрел в окно, на Рождественскую, на мокрую брусчатку и трамвайные провода. Очень внимательно смотрел. Слишком внимательно для человека, у которого нет ответа.

— Нет, — сказал я.

— Я ничего не сказал.

— Ты подумал.

— Думать, Марк, не запрещено даже юристам, — сказал Гоша. И убрал ноги со стола.

* * *

Ночью я не спал.

Так бывает, когда что-то цепляет пункт четыре. Не сама фраза. То, что под ней.

Четырнадцатое января две тысячи шестнадцатого. Минус двадцать семь. Общежитие на Автозаводе, пятиэтажка, третий этаж. Вызов в два сорок. Короткое замыкание в комнате, где жили с обогревателем на удлинителе. Удлинитель был китайский. Я потом видел, что от него осталось.

Дым шёл по коридору стеной. Чёрный, жирный, такой, через который фонарь светит на полметра. Мы шли вдвоём, я и Лёша Сомов. Лёше было двадцать шесть. Он собирался жениться в мае. Всю смену показывал мне в телефоне кольцо, которое выбрал. Спрашивал, не слишком ли простое.

Дети были в дальней комнате. Трое. Мать ушла в ночную смену, заперла их, чтоб не бегали. Старшему семь, младшей два. Они забились под кровать. Я нашёл их по кашлю.

Двоих взял я. Одного — Лёша. Мы шли обратно по коридору. Видимость ноль. Я — первый, Лёша — за мной, рука на моём плече. Так ходят. Всегда.

Потолок пошёл у лестницы. Я услышал треск, рванулся вперёд, к пролёту. Почувствовал, как Лёшина рука соскальзывает с плеча. Обернулся. Он успел толкнуть ко мне ребёнка. Ребёнок упал мне в ноги. Я его подхватил. Протянул руку к Лёше. Поймал его перчатку. Держал.

Две секунды. Может, три.

Потом балка. Жар такой, что я не почувствовал ожога, — понял про него только в машине, когда фельдшер срезал с меня куртку. Левое плечо, лопатка, бок. Перчатка Лёши осталась у меня в руке. Пустая.

Троих детей я вынес. Мне дали медаль. Её вручал губернатор, по телевизору показывали. Я стоял, смотрел в камеру и думал про перчатку.

Через год я ушёл. Не мог входить. Подходил к подъезду, где горело, — и ноги не шли. Просто не шли, будто в бетон. Командир сказал: «Иди, Елагин, лечись». Я не лечился. Я ушёл строить отели. Отели не горят. Я везде поставил лучшую систему пожаротушения в области. Проверяю каждый квартал. Сам.

Кольцо Лёши я отвёз его невесте. Она его не взяла. Сказала: «Оставь себе, ты его последний видел». Оно у меня в сейфе. Простое. Не слишком.

Шрам ноет к перемене погоды. Ныл и в ту ночь.

Я лежал, смотрел в потолок своего дома, который построил сам, из бревна, которое не горит быстро. И думал: Лера права в одном. Я не умею про это говорить. Я девять лет не говорил ни с кем. Ни с Лерой, когда она ещё была. Ни с мамой. Ни с Гошей. Ни с психологом, к которому меня отправляли. Я один раз сходил. Сидел час и молчал. Психолог сказал: «Вы очень закрытый человек, Марк Андреевич». Я сказал: «Да». Это было всё, что я сказал.

А теперь это будет в суде. Пункт четыре.

* * *

Четырнадцатого, в пятницу, я укладывал Соню.

Мы не делали этого давно. Обычно она укладывалась сама — «пап, мне девять, вообще-то». Но в тот вечер она попросила посидеть. Я сел на край кровати. Над кроватью висели её рисунки. Лошади. Лошади. Нюра с Барином. Флигель с лесами.

И новый. Женщина на стремянке. Со скребком в поднятой руке. В шапке с помпоном. Руки нарисованы хорошо. Не лопатами.

— Дорисовала, — сказала Соня, проследив мой взгляд. — Она сказала, что получилось.

— Получилось.

Соня помолчала. Возилась с одеялом. Потом спросила в потолок, не глядя на меня:

— Пап. Мама меня заберёт?

— Нет.

— Ты точно знаешь?

Я не знал. Я сказал:

— Точно.

Я никогда ей не врал. Это был первый раз. Я почувствовал, как это неправильно, — как будто ставишь балку криво и знаешь, что криво, и всё равно ставишь, потому что надо держать крышу.

Соня кивнула. Поверила. Она мне всегда верит.

— Пап, — сказала она снова. Уже сонно. — А Алина останется?

Я не понял.

— В смысле?

— Ну, когда она дом вылечит. Она уедет? Или останется?

За окном пошла крупа. Мелкая, сухая, почти невидимая. Ещё не снег — так, обещание. Я видел её в свете фонаря у флигеля. Там горело одно окно. Нижнее, с изразцовой печью.

— Не знаю, Сонь.

— Узнай, — сказала Соня и закрыла глаза. — Вообще-то это важно.

Я сидел у неё, пока она не уснула. Потом вышел на крыльцо. Без куртки. Крупа секла лицо, таяла.

Окно во флигеле горело.

Я вспомнил Гошу. Как он смотрел в окно на Рождественскую. Слишком внимательно.

«Женись».

На ком.

Я стоял на крыльце, пока не замёрз. Окно во флигеле погасло в половине первого. Я знал время, потому что смотрел на часы.

Это было хуже всего. Что я смотрел на часы.

Глава 9. Тайник

Приглашение пришло в пятницу вечером, эсэмэской, и выглядело как повестка.

«Алина Сергеевна. Приглашаю на рабочий ужин в субботу, 15.11, в 19:00. Мой дом. Повестка: смета на кровлю, график работ на зиму. М. Елагин».

Я показала экран Барину, который в тот вечер ночевал у меня на печи. Барин зевнул. Я была с ним согласна.

«Буду», — ответила я. Подумала. Дописала: «Форма одежды?»

Через минуту пришло: «Рабочая».

Я засмеялась вслух, одна, во флигеле. Флигель скрипнул.

— Да, — сказала я ему. — Он всегда такой. Привыкай.

* * *

В субботу я надела чистые джинсы и единственный свитер, на котором не было пятен олифы, — серо-зелёный, мамин, ручной вязки. Распустила волосы. Собрала обратно, карандашом. Распустила. Сказала зеркалу: «Это рабочий ужин, Лебедева». И собрала опять.

Дверь мне открыла Соня. В платье. В синем бархатном платье с белым воротничком, в колготках и почему-то в папиных шерстяных носках поверх колготок, потому что «пол холодный, вообще-то».

— Проходите, — сказала она очень официально. — Папа жарит. Мне нельзя на кухню, у него там опасно.

Дом Марка внутри был таким же, как снаружи: простым, крепким и без единой лишней вещи. Бревенчатые стены, светлые, отшлифованные. Большая комната — кухня и гостиная вместе, камин, длинный стол из массива. Только на одной стене — Сонины рисунки, приклеенные скотчем, штук тридцать. Лошади. Нюра с котом. Флигель. И я на стремянке, в шапке с помпоном.

Я остановилась перед этим рисунком. Руки получились. Не лопаты.

— Это я сама повесила, — сообщила Соня у меня за спиной. — Папа сказал, что скотч портит бревно. А я сказала, что рисунки важнее бревна. И он ничего не ответил. Значит, согласился.

— Логично, — сказала я.

— Вообще-то да.

Стол она накрыла сама. Это было видно: три тарелки, разные, три вилки, тоже разные, салфетки, сложенные в нечто, что, судя по шее, задумывалось как лебеди, а получилось как гуси после драки. В центре стола — банка из-под огурцов с еловой веткой.

— Я в интернете посмотрела, как салфетки, — сказала Соня. — Там лебеди. У меня не очень получились.

— Это не лебеди, — сказала я. — Это гуси. Гуси, Соня, вообще-то гораздо умнее лебедей. Они Рим спасли.

Соня посмотрела на гусей с уважением.

Марк стоял у плиты спиной к нам. В тёмной рубашке с закатанными рукавами, в фартуке — чёрном, простом, — и это было так неожиданно, что я на секунду забыла поздороваться. На предплечьях у него были светлые полосы старых мелких ожогов, как будто кто-то брызнул на кожу белой краской.

— Добрый вечер, — сказал он, не оборачиваясь. — Садитесь. Пять минут.

— Добрый вечер. Повестку я прочитала.

Он обернулся. Посмотрел на мой свитер, на карандаш в волосах. Ничего не сказал. Отвернулся к сковороде.

Первую партию стейков он подал идеально. Соне и себе — я заметила, что Сонин был прожарен сильнее, по-детски, а его — с кровью. Мой, сказал он, будет через три минуты, «чтобы горячий».

Мы начали со сметы. Он положил на стол распечатку, я — свою тетрадь. Кровля: временная до весны, капитальная летом, лиственничный тёс, не металл, ни в коем случае не металл. Он спросил — почему. Я объяснила. Про точку росы, про то, как под железом дерево потеет и гниёт, про то, что Ланге крыл тёсом и тёс простоял бы ещё сто лет, если бы колхоз в шестидесятых не положил сверху рубероид. А он слушал.

Он слушал так, как никто не слушал меня восемь лет. Не кивая, не поддакивая, не глядя в телефон. Просто смотрел на меня, не отрываясь, и иногда задавал вопрос — короткий, точный, всегда по делу. И я вдруг поняла, что говорю уже пятнадцать минут подряд и меня ни разу не перебили.

С Олегом я не договаривала ни одной фразы до конца. Он заканчивал за меня. Обычно не так, как я хотела.

— Пап, — сказала Соня.

— Сейчас.

— Пап, вообще-то пахнет.

Марк вскочил. Со сковороды поднимался дым — сизый, густой, честный. Мой стейк превратился в нечто, что отец назвал бы «древесный уголь, берёзовый, второй сорт».

Марк смотрел на сковороду. Сковорода смотрела на Марка.

— Пап, — медленно, с наслаждением сказала Соня, — ты же пожарный. А сжёг.

— Бывший, — сказал Марк.

— Он и в четверг сжёг, — сообщила мне Соня шёпотом, который слышно было, наверное, в деревне. — И в среду. Он репетировал. Три раза. Он вообще-то никогда не жарит стейки, он только сырники умеет. Он в интернете смотрел, как правильно. С таймером.

Марк медленно повернулся. Лицо у него было каменное. А уши — я это видела совершенно отчётливо в свете кухонной лампы — уши были красные. Как у школьника.

Я не выдержала. Я засмеялась — так, что пришлось положить вилку, а потом и голову на стол, рядом с гусем из салфетки. Соня засмеялась следом, звонко, с визгом. И через секунду — я не поверила — засмеялся Марк. Негромко, хрипло, как будто этим звуком давно не пользовались и он заржавел. Но засмеялся.

— Ешьте мой, — сказал он, отсмеявшись, и пододвинул мне свою тарелку. — Я сделаю себе яичницу.

— Яичницу вы тоже сожжёте.

— Яичницу я не сжигал ни разу в жизни.

— Сожжёт, — уверенно сказала Соня.

Он не сжёг. Но мы следили.

Потом пили чай. Соня показывала мне альбом — все лошади по порядку, с пояснениями, какая какой породы. Марк мыл посуду, отказавшись от помощи коротким «сидите». Я сидела и смотрела, как он моет, — тщательно, каждую тарелку с двух сторон, — и думала, что мужчина, который репетирует стейки три раза, чтобы накормить реставратора, — это либо очень вежливый работодатель, либо…

Либо я не стала додумывать.

— Как вы узнали про кардамон? — спросила я, когда он вытирал руки.

Он замер с полотенцем на долю секунды. Такую короткую, что её можно было не заметить.

— Угадал.

— Папа никогда не угадывает, — сказала Соня, не поднимая головы от альбома. — Он даже в «крокодила» не угадывает.

— Соня. Спать.

В половине десятого он проводил меня до флигеля. Молча. С фонарём. Шёл на шаг сзади, светил мне под ноги. У крыльца сказал «спокойной ночи, Алина Сергеевна» и ушёл раньше, чем я успела ответить.

* * *

Спать я не могла.

В голове крутились стейк, красные уши и «угадал». Я встала в двенадцать, включила лампу — электричество во флигель шло по времянке, кабелю, который Марк протянул от своего дома в первый же день, — и решила работать. Если не спится, работай. Так учил отец.

Печь в нижней комнате я собиралась перебирать с самого начала. Изразцы были бело-синие, с цветами, и верхний ярус, под карнизом, держался плохо — два изразца шатались, раствор под ними выкрошился. Я сняла первый. Потом второй. За вторым была глухая кладка, как и положено.

А третий, соседний, отозвался на стук не так.

Пусто. Тот же звук, что у полой стенки шкафа с двойным дном. Я простучала ещё раз. Пусто.

Я подцепила изразец стамеской — маминой, конечно. Он поддался легко, слишком легко, как будто его не раз вынимали и ставили обратно. Раствора под ним не было. Был сухой, плотно утрамбованный песок, а за песком — ниша. Небольшая, в два кирпича глубиной.

В нише лежал свёрток.

Вощёная ткань, жёлтая, ломкая. Перевязана выцветшей лентой, когда-то, наверное, синей. Я держала свёрток на ладонях и не дышала. Сто шестьдесят с лишним лет — и сухо. Печь берегла. Печь грела их, как курица яйца.

И в этот момент погас свет.

Не мигнул — погас, разом, будто кто-то выдернул вилку. Лампа, обогреватель, роутер, который Марк поставил для меня в прихожей. Темнота. Только в печи тлели угли — красным, тусклым светом, и в этом свете лежали у меня на руках чужие письма.

Я не испугалась. Почти. Нашла на ощупь телефон, включила фонарик. Была половина второго. Сеть — одна палочка.

Я могла дождаться утра. Я должна была дождаться утра.

Я набрала его.

Гудок. Второй. Я уже хотела сбросить.

— Елагин.

Голос сонный и сразу — нет, не сонный. Собранный, как у человека, которого будили по тревоге девять лет.

— Это Алина. Простите, что ночью. У меня тут… Свет выбило. И я нашла… Марк Андреевич, я нашла письма.

Пауза.

— Иду.

Он пришёл через четыре минуты. Я услышала, как он бежит по аллее, — не идёт, а именно бежит, тяжело, быстро. Дверь распахнулась. Луч фонаря ударил мне в лицо, метнулся по комнате, по печи, по мне ещё раз — сверху вниз, как будто проверял, всё ли на месте.

Он был в куртке, накинутой на голое тело. В спортивных штанах и ботинках на босу ногу, без шнурков. Волосы взъерошены. Грудь под расстёгнутой курткой ходила от бега. Слева у ключицы, у самого края воротника, я увидела кожу другого цвета — неровную, глянцевую, как дерево, которое опалили паяльной лампой. Он перехватил мой взгляд и запахнул куртку.

— Вы целы?

— Цела. Вы сказали «иду», я подумала — придёте. А вы прибежали.

— Вы позвонили в половине второго ночи и сказали, что выбило свет. — Он выдохнул. — Я подумал про проводку.

Про проводку. Бывший пожарный. Я поняла, о чём он подумал, и мне стало стыдно и тепло одновременно.

— Это не проводка. Наверное, ваш кабель. Ветер. Смотрите.

Я показала ему свёрток.

* * *

Свечи были у Нюры, Нюра спала, но у Марка в кармане куртки оказались спички. Пожарные, сказал он, всегда носят спички. «Бывшие пожарные», — поправила я. Он ничего не ответил. В шкафу нашлись две хозяйственные свечи, которые я купила в первую неделю на всякий случай. Мы зажгли обе и поставили на стол, в блюдце.

Я развязала ленту. Она рассыпалась у меня в пальцах в синюю пыль.

Внутри были письма. Двадцать три — я пересчитала. Сложенные вчетверо, исписанные с двух сторон мелким наклонным почерком. Одни — женским, с завитками, рыжими выцветшими чернилами. Другие — мужским, жёстким, угловатым, чёрными. Её черновики и его ответы. Даты — шестьдесят второй год. Шестьдесят третий.

— Нюра говорила, — прошептала я. — Полковник искал её письма. Весь флигель перерыл. Не нашёл. Потому что она спрятала их в печь, которую строил сам Ланге. Туда, где знал он и знала она.

Марк сидел рядом. Близко — стол был маленький, а свечей мало. Я чувствовала его тепло плечом, хотя мы не касались. От него пахло холодной ночью, морозом и чем-то древесным, дымным.

Первое письмо я развернула так, как разворачивают гравюру, — кончиками пальцев, не дыша.

Из письма Е. К., 3 июня 1862 года:

«Милостивый государь Карл Фёдорович! Вы просили описать, как треснула балка над лестницею после пожара, и я исполняю Вашу просьбу, хотя не уверена, что сумею сказать дельно. Трещина идёт вдоль, от стены к середине, длиною в мой локоть, и в неё, если приложить ухо, слышно, как ходит ветер. Муж мой говорит, что балку надобно выбросить и поставить новую, сосновую, дешёвую. Мне же кажется, что дом, который Вы строили, не любит, когда в нём меняют сердце на дешёвое».

«Простите мне это рассуждение, оно не женское. Но с тех пор, как я здесь, мне не с кем говорить о доме, а дом — единственное, что у меня есть своего».

Я дочитала и замолчала. Свеча потрескивала. Марк сидел не двигаясь.

— «Дом — единственное, что у меня есть своего», — повторил он тихо.

— Это она про балку, — сказала я. Голос получился странный.

— Нет, — сказал он. — Не про балку.

Мы читали дальше. По очереди: я — её, он — его. У него был хороший голос для чтения, низкий, ровный, и он не торопился. Ланге отвечал ей сначала сухо, по делу: про лиственницу, про то, что балку не нужно менять, нужно стянуть железом, что трещина вдоль — не смерть, смерть — поперёк. Она спорила. Он спорил в ответ. Письма становились длиннее. Слов про дерево — меньше.

Где-то к десятому письму я поняла, что наши руки лежат на столе рядом. Его — правая, большая, с белыми пятнышками ожогов. Моя — левая, со шрамом. Между ними было сантиметра три. Ни один из нас не двигал руку. Ни один не убирал.

Последнее письмо в свёртке было коротким. Без обращения. Почерк — её, но неровный, торопливый, буквы налезали друг на друга, одна строка смазана, будто по ней провели мокрым рукавом.

Из письма Е. К., без даты, 1863 год:

«Он узнал. Если вы получите это…»

И всё. Дальше — чистая бумага. Край листа надорван.

Я перевернула письмо. На обороте ничего. Я перебрала оставшиеся — нет, это было последнее. Последнее, что успела спрятать.

— Он узнал, — сказала я вслух. — Полковник. Узнал — и что? Она успела? Не успела? Нюра говорит, она сбежала с немцем. А вдруг не сбежала? Вдруг он…

Я повернулась к Марку. Он смотрел не на письмо. На меня. Близко, в свете двух свечей, и лицо у него было такое, какого я раньше не видела: открытое. Без шкафа, без замка. Как дверь, которую забыли запереть.

Секунда. Две.

Его мизинец коснулся моего. Едва-едва, краем. Может, случайно. Может, нет.

Он встал. Резко, так, что стул качнулся и свеча затрепетала.

— Мне надо… Соня одна. — Он уже застёгивал куртку, до самого горла. — Свет утром сделаю. Кабель проверю. Письма — в сейф, у вас в мастерской, — не держите на столе. Заприте дверь.

— Марк Андреевич…

— Спокойной ночи, Лебедева.

Дверь закрылась. Я слышала, как он идёт по аллее — не бежит, нет. Идёт. Быстро, тяжело, как уходят от того, что горит.

Я сидела над письмами, пока не догорели свечи. Мизинец левой руки горел, как будто я дотронулась до печной заслонки.

Лебедева, сказал он. Второй раз. Я начинала подозревать, что так он говорит, когда злится.

Только я никак не могла понять, на кого из нас.

Глава 10. Предложение

В субботу, двадцать второго ноября, я сняла с наличника седьмой слой краски и добралась до первого.

Седьмой был зелёный, колхозный, шестой — голубой, с мелом, а под третьим, белым, свинцовым, ломким, как старая сахарная глазурь, лежал он. Первый. Серо-жемчужный, на олифе, почти прозрачный. Таким его увидел Карл Ланге, когда отошёл от стены на три шага и сказал себе: годится.

Я стояла на лесах в ушанке, которую выдала мне баба Нюра, дула на пальцы и разговаривала с домом.

— Ну вот, — сказала я наличнику. — А ты боялся.

Наличник не ответил. Зато снизу ответила Нюра:

— С кем это ты, доча?

— С подрядчиком, — сказала я. — Обсуждаем сроки.

— А-а, — Нюра понимающе кивнула. Барин, сидевший у неё на руках рыжей подушкой, посмотрел на меня как на сумасшедшую. Это было справедливо. За три недели в Кашино я разговаривала с флигелем больше, чем за последние восемь лет — с мужем. И флигель, в отличие от мужа, хотя бы скрипел в ответ.

Ночью подморозило. Лужи на аллее затянуло ледком, липы стояли чёрные, как рисунок тушью, а за обрывом Волга была того сизого цвета, который бывает только в конце ноября: уже не вода, ещё не лёд.

Я как раз решила, что сделаю себе кофе с кардамоном и разрешу себе пять минут счастья, когда услышала машину.

Машины в Кашино были наперечёт. Марков Land Cruiser я узнавала по тому, как он сбрасывал скорость у ворот — сразу, без суеты, как человек, который заранее знает, где яма.

Эта машина ехала так, будто ям не существует. Будто их кто-то должен убрать к её приезду.

Чёрный Mercedes GLS вплыл в аллею, раздавил ледок на луже, остановился у самого крыльца флигеля. Я знала эту машину лучше, чем собственное лицо: я восемь лет сидела на её правом сиденье и смотрела в окно, пока мне объясняли, как я неправильно поздоровалась с чьей-то женой.

— Ох ты, — сказала Нюра и прижала Барина. — Баре приехали.

* * *

Олег вышел первым. Кашемировое пальто, шарф, который я ему покупала в Милане, — я заметила и разозлилась, что заметила. Лицо с билборда: ровное, загорелое в ноябре, с улыбкой, которую он включал, как свет в прихожей.

Вторым вылез человек, которого я видела раза два на корпоративах: Шубин, юрист «ВолгаСтройИнвеста». Узкий, в очках без оправы, с портфелем, который он держал перед собой, как щит.

— Аля! — Олег улыбнулся мне на леса так, будто я, как обычно, опоздала. — Слезай. Поговорить надо.

— Мне отсюда хорошо слышно, — сказала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.